

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ

ЦК ВЛКСМ

ВОКРУГ СВЕТА



# Искатель

4

ФАНТАСТИКА • ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1978





ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ  
ЦК ВЛКСМ  
ВОКРУГ  СВЕТА

# **Искатель**

**ФАНТАСТИКА • ПРИКЛЮЧЕНИЯ** 1978

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Александр БУРТЫНСКИЙ — «Тихий угол» . . .	2
Дмитрий БИЛЕНКИН — Вечный свет . . .	97
Казимеж КОЗЬНЕВСКИЙ — Человек в парике	114

**№ 106**

**ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ**

# «ТИХИЙ УГОЛ»

## Повесть

**К**огда подполковник Иван Петрович Сердечкин волновался, глаза у него становились светлыми, а зрачки как точки и казалось, что он старается что-то разглядеть за твоей спиной...

— М-да, дела...

Андрей, которому передалось скрытое беспокойство замполита, уже догадывался, что ничего хорошего этот вызов ему не сулит, внутренне весь подобрался, привычно гася полыхавшую в нем в это солнечное утро беспричинную радость.

— Ты завтракал? — спросил Сердечкин, так и не начав разговора. — Давай тогда ко мне, я ведь тоже натошак, Аня пельмени стряпает. Посидим, потолкуем...

Они спустились вниз и узкой, прокопанной в сугробах стежкой протопали во флигелек, где Сердечкин жил со своей женой — медичкой Анной Павловной — Аннушкой. Хрупкая, светловолосая, с миловидным, по-детски просветленным личиком, она тотчас захлопотала у стола, расставляя тарелки.

Андрей молча оглядывал жилье-временку, в котором, кроме стола, стульев, топчана да полка с книгами, не было никакой мебели. От тарелок с бульоном поднимался ароматный пельменный парок. Сердечкин уже отвинчивал у трофейного графинчика стеклянную пробку.

— Ну вот, — сказал Сердечкин. Он так и не открыл графин, сдвинул в сторону. — Сначала дело. Придется нам с тобой малость отложить наши мирные мечты...

Андрей не удивился. Сердечкин посмотрел на него и расстелил на столе карту-десятиверстку.

Дело было проще простого. На носу выборы, а в Полесье пошаливают банды. На некоторое время полк отдельными подразделениями посылают в разные точки. На всякий случай. Чтобы люди могли спокойно проголосовать за своих избранников.

— Ну, само собой понятно, поведение солдат должно быть достойным. Это надо понять всем, а твоим отчаюгам особенно. Никаких выпивок, гулянок — ни-ни...

— Ясно.

— Возьмешь своих разведчиков, новичков оставь... Вот сюда. — Подполковник ткнул пальцем в самую гущу зеленого пятна на карте с мыском степи и пунктиром железной дороги. Ракитяны... Поселочек полусельского типа. Стеклозавод, рабочие с приусадебными участками, хутора.

Андрей кивнул.

— Ладно, не вешай нос, — сказал Сердечкин. — Мы еще свое возьмем...



В душе Андрей не мог сердиться на Сердечкина, с которым прошел полвойны и порой даже забывал о разнице в звании,— простой, душевный мужик. Один только раз видел его в ярости, когда Аня, тащившая раненого, подорвалась на мине. В то утро он повел в атаку застрявший под холмами батальон — прямо на кинжальный огонь, и, если бы не Андрей, вынесший его, раненного, из огня, так и остался бы помирать в чужой траншее.

— Давай за все хорошее. — Сердечкин поднял рюмку. — Аннушка, что ты, как султанская жена, на своей половине?

— А ты и есть султан. — Она подошла и сзади чмокнула его в седую голову...

Глаза у Сердечкина стали влажными, голос дрогнул:

— Садись, Анюша.

Казалось, он стеснялся собственного счастья, был неловок, растерян. Спросил, видно, первое, что пришло на ум:

— Да, Полесье, знаешь, что это такое?

Андрей знал, за полгода пришлось ползать по лесам. Деревенные березовые рощи, осиновые буреломы, пахучие ольшаники и густой лиственный настой. А еще среди лозовых кустарников обгорелые трубы. Только трубы да заросшие травой пепелища...

— Между прочим, — сказал словно без всякой связи Сердечкин, — когда мне жалуются на этих недобитых бандеровцев, мол, им легко прятаться, днем он с плугом, а ночью с обрезом, поди раскуси, думаю, дело не в этом, не только в этом... Свои же их и бояться. Страх покоится на вековой инерции. Дремучая безграмотность, темнота. — Он покачал головой, вздохнул. — Ты ешь, ешь. Удивительно все-таки многострадальный край. Ты загляни в историю — все войны проходили по этой земле. Страх, страх... Он вколачивался в душу, как гвоздь. Кто свой, кто чужой, уже иным было не понять. И не мудрено! Откуда это идет? От желания одних властвовать над другими. Это язва человечества, и мы ее уничтожим, на то мы и родились! Ты понимаешь, о чем я говорю? Думаешь, политграмоту тебе читаю. Нет, и без меня известно, но это надо понять, вдруг понять и почувствовать. Ведь люди впервые в жизни получили Родину. Вместо панских нагаек и страха, вместо клочков болотистой земли и курных хат — огромная Родина, аж до Тихого океана, шутишь? И это они должны понять. Родина и семья, каких нет больше в мире...

Он любил иногда поговорить, заводился, ревниво следя за реакцией собеседника. С Андреем он вообще бывал особенно откровенен. Уважал за храбрость, ценил умение слушать.

— Вот почему, — сказал подполковник, — с этими людьми надо быть особенно бережным. С людьми!

— Да!

— Ты — представитель армии и государства на крохотном участке. Но крохотных в нашем деле нет.

— Тоже понял.

— Ну ладно, что я тебя агитирую, давай теперь чайку, а? И отдохнуть. С рассветом двинешься... Между прочим,—он ткнул пальцем в десятиверстку, — любопытная штука: за последние

месяцы в Ракитянах не было ни одного ЧП, «белое пятно». Своего рода загадка...

— Тоже входит в мою задачу?

— Нет, ты же не следователь. Но позавчера был выстрел. Вот здесь, за хутором, — поле. И стреляли-то, заметь, не в исполкомовца или активиста. Рядовой мужик, переехал из Калиша, что под Черным лесом. Стеклодувом на заводе.

— Постараюсь разузнать.

— Только осторожней. Может, ему вообще почудилось. Не стоит раздувать дело. Твоя задача: помочь местным властям, чтобы выборы прошли спокойно, празднично. Весело!

\* \* \*

Старуха Фурманиха, худая, нос крючком, в развевающихся юбках, черном платке и плисовой душегрейке с широкими, как крылья, рукавами, которыми она поминутно взмахивала, помогая солдатам сколачивать нары, набивать сеном матрацы, была похожа на хлопотливую ворону, вьющую гнездо для своего выводка.

Солдатам она отвела под жилье кухню, сама убралась в комнату, откуда с утра до ночи несся стрекот швейной машинки: супруг Фурманихи, старый Владек, портняжничал.

За три дня к Фурманихе привыкли, перестали замечать, но она мельтешила перед глазами, то и дело давая о себе знать, как будто всю жизнь только и мечтала заполучить солдат на постой. То подкинет из сарая сухих березовых чурбачков, то нальет в кастрюлю какого-то пахучего варева из фасоли и сушеных трав...

— Вы ижте, ижте, золотые мои, это полезно для молодых организмов. Травку сама собирала.

И стала загонять в горницу Владека, который по привычке сел обедать за кухонный стол. На солдат, вступившихся за старика, замахала своими крыльями:

— Что вы, родненькие, красавцы мои, золотые. У вас свои дела, военные, может, тайны какие, а он тут развесит уши. Владек! Кому говорю, бери свою миску, бери хлеб, мужик ты или нет, горе мое.

— Mam, не блажи.

— Кому я сказала? Стене или своему законному мужу?

Огромный плешивый Владек, забившись в угол, не знал, кого слушаться — то ли жену, то ли храбрых ребят, с которыми ему, должно быть, интересно было посидеть, побалакать.

— Вот сумасшедшая нация, — вскинулся Владек на жену, заявляя о своем мужском достоинстве, — шо евреи, шо цыгане одна музыка у голове от тебя звенит.

— Э, э, — передразнила старуха, качая островерхой в платке головой, — вы посмотрите на этого гордого хохла, что с него станется, если я на пару дней в село отлучусь, он же с голоду помрет. Кто его кормит, кто его поит?

— Mam, а ремесло мое?

— Твое! Ремесла на карасин не хватает...

В общем то, с женой Владеку повезло. В молодости Фурманиха, видно, была хороша собой, правда, от тех незабвенных лет

остались лишь живые карие глаза на сморщенном личике да огненная деловитость, с какой она все время сигала из дома на базар и обратно, таская бесконечные узелки, — их приносили ей из деревень в обмен на какие-то травы, которыми она снабжала поселян. Кажется, старуха тайком врачевала, а заодно приторговывала кое-чем. Оттого и была несказанно рада новым постояльцам — к солдатам милиция не сунется. Те сразу раскусили старухину корысть и только посмеивались над ее комплиментами в свой адрес: послушать ее, так все поголовно были красавцами, умниками, и самое малое, на что они могли рассчитывать в скорой гражданке, — на должность начальника милиции или председателя райсовета — предел человеческой мечты в понятии старухи Фурманихи.

— А что, он тоже красавец, Мурзаев? — исподволь заводил Политкин, простодушно кругля глаза на Фурманиху, которая в этот момент отбирала у невзрачного на вид Мурзаева сковородку, потому что не могла допустить, чтобы кто-то в ее присутствии занимался бабьим делом.

Фурманиха, на миг оставив сковородку, выразительно свела костлявые ладони:

— Что за вопрос!

— А я?

— Ты. Ты больше, чем красавец! Я не знаю, сколько девчат помрут из-за тебя, дай бог им радости...

— А Колька? — трясся Политкин, кивая на одессита, склонившегося над гитарой в своей неизменной шоферской кожанке и с трубкой в зубах.

— Софочка, София Павловна, мечта мальчишечья, где вы теперь? — шепелявил Николай.

— Талант! — восклицала старуха, и голос ее поднимался до немислимых высот.

— А лейтенант?

Старуха в избытке чувств закатила глаза: не хватило слов...

— На что ты все-таки живешь, мать? — спросил однажды Николай, пыхая своей трубкой.

— Один бог знает, — вздохнула она с ласковой улыбкой. — Так, кручусь. Принесут на продажу десяточек яиц по рублю, им же некогда по базарам бегать, весна на носу, я и продам. Вы думаете, что можно заработать? Десять рублей за десяток, а то и того не дают.

— А прибыль откуда?

— Я знаю? Бог дает...

— Интересная арифметика, — сказал Николай, и старуха кивала, заранее соглашаясь. — По рублю берешь штуку, за десятку продаешь десяток, а себе что? Как в том анекдоте — один навар. И деньги в обороте.

Тут уж все не выдержали, покатались со смеху.

— Смейтесь, смейтесь. А я для добрых людей стараюсь...

Андрей вспомнил разговор с Сердечкиным и, воспользовавшись непринужденностью обстановки, спросил:

— А что у вас говорят об этом выстреле в стеклодува?

Старуха чуть вздрогнула, легкая тень скользнула по сморщенному ее лицу.

Может быть, само слово «выстрел» прозвучало неожиданно.

— Э, то ему померещилось, — отмахнулась она и, отвернувшись к плите, стала усердно перемешивать с луком шкварчавшее сало, и в этой торопливой реплике чувствовался словно бы испуг или желание успокоить себя, отогнать страх. — Помстилось мужику, бо у его это самое, — она, не оборачиваясь, повертела у виска, — он же с Прикарпатья сюда удрав...

— А там что случилось, на прежнем-то месте жительства?..

— Шоб я так жила, если меня это интересует, мало мне своих хлопот... Да разве я что знаю, ничего не знаю! — неожиданно запритчала она. — Вы з им поговорите, он же сусед наш, Ляшко, рядом дверь... Ой, консерва пригорела, господи боже мой! И сколько тут мяса? Вы же такие здоровые все, прямо загляденье, вот я вам сюды яичков набью...

И уж трудно было с ней справиться: шмыгнула в комнату, и через минуту кухню обьял яичный аромат — сковорода стала прямо неузнаваемой от пузырящейся желто-белой шипящей смеси...

\* \* \*

Баракы, каждый на две квартиры, еще довольно крепкие, рубленые, под черепицей, тянулись до заводских ворот, выходя террасами на зады, к полю. За полем чернела стена лесов.

Сутулая фигура Политкина маячила у крытой брезентом взводной полуторки. Вот он прошелся вдоль сараев, остановился на миг, завидев Андрея, и снова затопал, подбивая сапог о сапог — морозец заворачивал крутой.

Позади послышался скрип шагов, и перед лейтенантом возникла живая гора в тулупе, перепоюсанном ремнями. Застыла, издав короткий смешок, и чуть заметно, в приветствии, тронула рукой мохнатую кубанку.

Лихие казацьи усы, старшинские погоны на могучих плечах...

— Ты, значит, и есть командир? — гулко, как из бочки, спросил старшина и как будто усмехнулся. — Будем знакомы, здешний участковый. — Он снял варежку и с размаху ударил Андрея по руке каменной своей ладонью: — Все ждал, когда зайдете, да вот, как это говорится, если гора не идет к Магомету...

— Наоборот...

— Ну, нехай наоборот, — согласился он, слегка переменявшись в голосе. — Ты все ж таки лейтенант, а тут всего лишь лычка крестом... — коротко заржал вскинул голову. — Так что все закономерно.

Какая-то чуть заметная натянутость ощущалась в его неуклюже-напряженной фигуре, отрывистом голосе, в этой манере норовисто задираТЬ голову. Наверное, впрямь следовало зайти представиться, тем более что Сердечкин говорил о контактах и называл... Как же его фамилия?

— Довбня, если не ошибаюсь? — вспомнил наконец.

Старшина даже руки раскинул, явно польщенный, впрочем, тут же, не без иронии, укоротил свой порыв.

— Гляди мы оказывается, известные... А я за тобой или, вернее, за вами, товарищ лейтенант.

— Все равно...

— Ладно, все же я по годам тебя старше. В партизанах —





Рисунки Б. ДОЛЯ

не то что в армии, чины-то шли помедленней. Так вот, надо бы нам пройтись на хутор, поглядеть по хатам.

Он приглашающе тронул Андрея за плечо, и они направились вниз по тропе к полю...

— Я к вам вообще-то собирался, — сказал Андрей примирительно. — А зачем, собственно, в хутор?

— Не дает мне покоя этот выстрел, а тут появился ты, вместе и пройдемся, обычная ночная проверка. Посмотрим, как живут-поживают.

— А... удобно?

— Хе, участковому положено, а не просто удобно. Не нравится мне этот выстрел, совсем не нравится. Гостей сейчас в хатах полным-полно, каждый день новые, ловкому человеку затеряться легче, чем на сапог плюнуть.

То, что Довбня называл «гостями», был пришлый, приезжий люд из центральных областей, кинувшийся сюда, в плодородное Полесье, от разрухи и голода послевоенного неурожайного лета. Еще на станции в полковом городке видел Андрей мчавшиеся товарняки, облепленные людьми с котомками и мешками. Засуха вконец подломилась кое-где оставшихся без крова крестьян, и они ехали сюда, к незнакомым собратьям, повинувшись извечной надежде на выручку — купить картошки, зерна, а то поработать в приймах, только бы пережить тяжелую годину.

Хаты, что победней, были переполнены. Спертый духом презлого сукна, портянок, человеческой беды ударяло в лицо, едва Довбня распахивал дверь в сенцы. Люди спали на лавках, на полу, и не сразу можно было отыскать самих хозяев.

Старшина проверял документы, покачивал головой, иные были вовсе без «бумаги», но сам вид их — изможденный, замученный да торопливый брянский говорок в ответ на вопросы милиции начисто исключали всякие подозрения.

— Рази нам тут праздник! — вдруг вздымалась из темного угла встрепанная спросонок бабья голова. — Я вот с дитем. Нам бы мучицы малость, мы и уедем. Смилуйся, ради господа...

— Да кто ж тебя гонит, спи...

— Вот и документ...

— Не надо документа. Отдыхай, мать. А то вон дите спугаешь. — И доставал из бездонного кармана запыленный осколок сахара, совал бабе для малыша.

— Дай тебе бог, начальник...

Довбня отворачивался, махал рукой. Как бы невзначай заводил разговор о крестьянских делах, мужики оживлялись.

— Нам бы до весны обернуться, весной-то и солнце кормит. А там, гляди, и отсеемся. Семена-то нашему «Рассвету» дали, бережем, а уж сами ладно-ть, председатель отпустил, нешто мы задержимся тут, резону нет, семьи нас ждут. А пока, стал быть, вот горюем.

— Не забижают хозяева?

— Что вы, бог с вами. Делятся.

— Ну-ну...

Оставляя хату, Довбня, как правило, зажигал в сенцах спичку и, если обнаруживал в углу покрытую мешком кадушку, звал хозяина с лампой.

— Совесть есть, Прокопий? Хоть бы постояльцев постыдился, такой год, а ты самогонку завел...

И Прокопий, или Сафон, или Грицко начинали клясться всеми святыми, что поставлено для выпечки хлеба, какой самогон! Но Довбню не так-то просто было обмануть, он брал тесто на язык, каким-то ему одному известным образом определял его истинное назначение и уж тут не мешкая просил соли. По тому, как торопливо подавал хозяин соль, радуясь, что легко отделался, ясно было, что Довбня прав.

Довбня для порядка бросал горсть в опару — самогона с такой приправой не получится.

И снова они выходили в завьюженную ночь, осиянную каленной морозцем луной.

Внезапно Довбня остановился. Невдалеке за плетнем яростно залаяла собака.

— Заметил? Свет-то в окне погас? Или почудилось?

— Вроде бы.

Довбня торопливо зашагал к плетню, Андрей едва поспевал за ним. Взойдя на крыльцо, старшина задергал чугунную подвеску, в хате послышался плач. Он забухал в дверь железным своим кулаком, плач усилился, казалось, верещали уже хором. Напрасно старшина кричал в глухую, обитую мешковиной дверь.

— Открывай, Настя! Оглохла ты, что ли!

Только детский рев в ответ. Даже неловко стало — врываются на ночь глядя в чужой дом...

— В чем дело? — спросил Андрей.

— Щиплет их, не иначе.

— Не понял.

— Детей щиплет, шоб орали: боимся, мол, потому не открываем. — Довбня соскочил с крыльца, отступил в тень, вытянутой рукой затарабанил в окно. Андрей невольно прижался к стенке, словно и впрямь ждал выстрела: под луной оба были как на ладошке.

Наконец-то в сенях завозились, звякнула щеколда.

— Это вы, начальник? Заходи, ради бога! — донесся звонкий молодой голос, и в приоткрытой двери мелькнуло яркое платье. С койки за ширмой еще доносилось неохотное ребячье хныканье. Слева на печке виднелась белоснежная, чуть примятая постель под клетчатым пледом. С подоконника зеленовато поблескивала початая бутылка, на табуретке у стола лежала стопка глаженного белья.

Потом он увидел и саму хозяйку, легко скользнувшую из-за ширмы молодуху, неестественно возбужденную, в праздничных монистах на высокой груди. От нее так и веяло жаром, запахом вина и дешевых духов.

— А я думаю, хто стукал. А то ж вы...

Неуловимый жест, будто взмах крыла, и табуретка очутилась на середине комнаты, белье исчезло. А сама хозяйка уже протягивала Довбне ладошку; веселая, с окровавленным бабьим вызовом и легким смятеньем в больших, как мокрые сливы, глазах.

— Здравствуй, здравствуй, Настя...

— То ж я и кажу — здоровеньки булы, гостюшки, шо ж гак, без предупредженья?

— И так видно — ждала.

— Ой, вы скажете! Да я тилько свет погасила. — И тотчас тронула Андрея за руку, словно всего обожгла. — Ой, який гарный офицер, може, присядете, чайку сготовлю.

— Да... нет, как старшина.

— Даже белье не успела прибрать, — оборвал Довбня, метнув в Андрея косой взгляд. — Мужское?

— Да то ж Степино. Маты палец поризала, то я ж парубка выручила. Ну шо ж вы, лейтенант... А то приходьте завтра на блины.

— Степаново, значит, — повысил голос Довбня. — Может, Иваново или еще чье-нибудь?

— А вы сами спытайте, — как бы не обращая внимания на старшину, хлопотала она вокруг Андрея; может быть, и впрямь решила попотчевать — бросила на стол плетенку с пирожками. Довбня вдруг ругнулся, шумно выдохнув сквозь сжатые зубы, и заиграл желваками:

— Ну-ну...

— Брезгуєте?

— Это оставь другим гостям. Нам не надо, сыты! — Решительно заглянул в соседнюю комнату. Отдернул занавеску в закутке, где кутались в одеяло двое глазастых ребятишек. И все это не глядя на теребившую мониста хозяйку, для которой в эту минуту, казалось, не было ничего важнее «гарного» лейтенанта.

Старшина снова процедил:

— Ну-ну! — И, не оборачиваясь, жестко кинул Андрею: — Айда, лейтенант! Кончай веселье...

Собака все еще захлебывалась в будке у сарая, рвала цепь. Довбня посветил фонариком по снегу, но все подворье вокруг темневшего сарая было укрыто нетронутой белизной. С затаенной хмурью, в которой почудилось что-то похожее на упрек, сказал:

— Или кого ждала, или уже проводила, в любом случае — пустой номер, спугнули.

— Кого? — спросил Андрей, ступая вслед за Довбней.

— Не гадалка — не знаю!

— Веселая... Может, кто из своих? — Он попытался смягчить рассерженного старшину, понять причину его недовольства.

— Может. Все может быть. Двое детей, от кого — неизвестно. Война наколесила. Веселая, дальше некуда.

— А кто такой Степан?

— А, Степан, — точно сплевывая в пространство, буркнул старшина, — сын предпоссовета Митрича!

Какое-то время он глядел на крайний дом под цинковой крышей у самого оврага и, повернув, зашагал в обратный путь, вверх по тропе.

— Дом-то чей?

— Митрича!

Неожиданно Довбня стал, и Андрей едва не наткнулся на него.

— Вы вот что, лейтенант, — голос старшины прозвучал сухо, — нет опыта в наших делах, так вели бы себя поскромнее.



— В чем дело? Я с вами в рейд не напрашивался.

— Сами все понимаете, — отмахнулся рукавичкой, даже не оглянувшись.

— Может, спокойно поговорим?

— А я и не думал волноваться. Мы, знаете, тоже кое-чего повидали.

— Да в чем дело, черт псбери?!

Ну и апломб! Похоже, назревала размолвка, из тех, когда спор на повышенных тонах только заводит в тупик. Этого нельзя было допустить. Вины за собой Андрей не чувствовал, лишь смутно догадывался, что дело касается Насти.

— Во-первых, — отрубил старшина, — это вам не фрицев из траншей таскать. Тут нужна тонкая работа.

— Так...

— Я бы ее, гулёну, сгоряча расколол, она уже путалась, если бы не вы со своими нежностями. Растаяли, потекли!

— Все?

Андрей невесело рассмеялся. Довбня тоже хмыкнул неопределенно, пускал дым в небо. И хотя примирение, казалось бы, состоялось, в душе остался осадок.

Распрощались довольно сухо, у самых барачков.

По дорожке с автоматом на груди прохаживался коротышка Бабенко.

— Будто бы потеплело, — сказал лейтенант.

— Тут бывает такое, — сказал Бабенко с каким-то непривычным мечтательным оттенком в голосе. — По детству знаю. Только обманчиво это, утром еще круче завернет. — И, закуривая, добавил: — Я ведь недалеко отсюда, за Сарнами, в пяти километрах от Кольки. Бараничи...

Андрей улыбнулся:

— У него Коровичи, у тебя Бараничи...

— Да уж такая местность. Кроме баранов да коров, ничего не видели, зато сейчас поуменьли, полсвета прошли. И что-то не тянет в село.

— А куда же?

— В Киев могу махнуть. Зараз на стройке руки нужны, семь классов есть, остальное доберу.

— Вполне.

— А Кольку тянет. Надо же, Одессу свою забыв, а село снится. Может, из-за памяти, там же Фросина с дитем могила.

Фросю расстреляли немцы за то, что не сняла со стен Колькин фронтовой портрет. Спросили: коммунист? Фрося, бывшая портовая табельщица, так и не добравшаяся из отпуска домой в Одессу, измученная дорогой, с ребенком на руках, крикнула: «Да!» И немец дал очередь. А Колька-то был беспартийный.

— Пригляжу, говорит, работенку загодя. Да и маты б ему почитать. Может, отпустите, товарищ лейтенант? Вин сам просыть стесняется.

«Вот такие они у меня все, друзья-приятели, бывшие разведчики. В другой раз Бабенко с Политкиным того же молчуна Кольку до бешенства, до слез вышутят, а тут, гляди, ходатай, горой встал».

— Вы теперь сами хозяин, вроде коменданта. Собственным правом, а?

- Запрещены отпуска.
- Много кой-чего запрещено человеку, як говорыв один язвенник, покупая поллитру. А жить надо.
- Подумаю.
- Он не подведет, Колька...

Луна скатывалась к зубчато-черной полосе леса. Расстилавшийся в низине поселок с вытянутым к хуторку хвостом дворов казался издали большой нахохлившейся птицей, таившей под крыльями людское тепло.

\* \* \*

Он представлялся Андрею со слов Сердечкина таким богатырем с бородой. Немецкий староста — партизанский ставленник, ходивший всю войну на острие ножа. А перед ним сидел неприметный с виду мужичишка, уже в годах, залысый, старенькая фуфайка внакидку — он, видимо, собрался по хозяйству, приход лейтенанта отвлек его. На белой скатерти лежали заветренные, пересеченные морщинами крестьянские руки.

Он говорил, Андрей слушал... О том, что в районе собираются создавать колхоз, вернее, восстанавливать. Единственный кооператив, успевший образоваться еще тогда, в тридцать девятом, под его руководством; о клубе — бывшем трактире, который перестроили, оборудовали, — в нем будет избирательный участок. Стеклозавод тоже пустили, заводские помогали ему налаживать культурную и хозяйственную жизнь, так что скоро все войдет в колею...

Говорил он почему-то с усталой отрешенностью, как о чем-то прошедшем: приятно вспоминать накануне выборов, но это уже далеко и ему неподвластно. Небритое лицо было замкнутым, лишь изредка в резковатом прищуре проступал характер, но тут же возвращалось прежнее выражение усталости, таившей не то сожаление, не то обиду. Андрей по-своему истолковал настроение Митрича, сказал:

— Вы человек заслуженный, да и не старый. Наверное, не обойдется без вас поселковый Совет и сейчас.

Корявая ладонь его чуть шевельнулась:

— Помоложе найдутся.

Лейтенант не стал спорить. По комнате то и дело шныряла высокая моложавая женщина с иконным лицом. Она зло поджимала и без того тонкие губы и несколько раз сухо говорила что-то о сарае, где корова вывернула цепку вместе с пробоем. и надо скорей «улаштувать».

— Тебе говорю или стенке? Чи то женская работа?

— Погоди, жена, видишь, с человеком беседую...

Она застыла у печки, спиной к ним, в темной шали, обливавшей точеные плечи, заколола ножичком щеку, и Андрею показалось, что она чутко прислушивается к каждому его слову...

— Та може и годи? Корова-то...

— Я сказал! — Лицо Митрича ожесточилось и так же мгновенно обмякло.

— Может, шо подала бы, Мариночка...

— А ничего готового нема. Вчера ж самодеятельность усе подчистила...

— Спасибо! Что вы, я завтракал, — замахал Андрей руками: Митрич же объяснил ему, что Степан, сын его, заведующий клубом, завел привычку потчевать своих музыкантов после репетиции.

Жена снова появилась, став у Митрича за спиной:

— Чи долго я просить буду? А? — Она смотрела ему в макушку, но казалось, реплика ее относилась к Андрею: пора, мол, собираться. Странной показалась лейтенанту такая неприветливость. Все это время его не покидало ощущение непонятной настороженности в жене председателя. Вдруг она вся словно просветлела, и Андрей только сейчас почувствовал, как она все еще хороша бабьей своей осенью. Он проследил за ее взглядом и увидел высокого парня в дверях горницы. Чем он был похож на нее? Тонкостью черт, синими с поволокой глазами. Где он видел этого парня? На нем была схваченная в талии вышитая рубаха, баранья набекрень шапка, странно не вязавшаяся с интеллигентным, узким лицом.

Сын?

Он торопливо надел снятый с гвоздя полушубок. Мать, изловчась, успела помочь ему, застегнула пуговицу и на миг прильнула к его плечу, смахнула невидимую соринку. Он увернулся, поморщась, и, задержавшись на Андрее взглядом, нахлобучил шапку.

Даже не поздоровался! И хозяин дома отнесся к этому спокойно, словно так и должно быть. Нет, что-то в этом доме неладно. Лишь когда Андрей поднялся, Митрич сказал потупясь:

— Не осуждай, лейтенант... В другой раз посидим, дай бог. — И с усмешкой добавил: — Он-то даст. Он всем дает, и правому и виноватому...

— Мам, я пошел...

— Да чи долго ж мне ждять? — глухо, с затаенной слезой вырвалось у хозяйки. Но тут дверь распахнулась, и на пороге встала медвежья фигура в дубленом полушубке со старшинскими погонами. Довбня! И с ним незнакомая девчушка в белой заячьей дошке, в красной вязаной шапочке. Смешливые карие глаза, нос в конопушках.

— Вот, — прогудел Довбня, — соловейку на дороге поймал, к вам летела.

Степан посторонился и фатовато, с поклоном, снял шапку.

— Ты за мной? Ключи от клуба я вчера унес случайно...

— Не, сегодня не пшийду. — Степан, потупясь, помял шапку. — Я до твоего ойца, нам же денег на костюмы до сих пор не... как-то... не выделявал поссовет.

— А надолго?

— То от его зависит. Ты иди. Мы поговорим сами.

— Как знаешь...

— Собрался — шагай, — хмуро сказал Митрич. — Раз дело ждет.

— Обойдемся без советов, — буркнул Степан, не глядя. — На работе командуйте, там у вас и совет и власть.

Хозяйка, заметавшись, ухватила сына за рукав, видно, хотела удержать, другой рукой полуобняла девчонку, но Степан грубо вывернулся, так что мать едва не упала, и толкнул дверь.

Девчонка, раскрасневшаяся на ветру, точно и не заметила заминки, сняла шапочку, рассыпав по плечам каштановые волосы. Хозяйка торопливо принялась снимать с нее дошку. Довбня между тем похлопывал красными с мороза лапиджами:

— Ну, Митрич, принимай гостя незваного. — Гранитно-розовое лицо его сдержанно сияло... — А, и лейтенант здесь?! — словно бы сейчас лишь приметил. — Или опоздал к обедне? — Довбня деланно засмеялся. — Хотя, тут и не начиналось, на столе пусто. А я к вам заходил, товарищ лейтенант, рад, что встретил. Как говорится, на ловца и зверь...

«Ого! — подумал Андрей. — Обращение строго по форме».

Митрич снова сел, хозяйка завозилась у печи. Андрей спросил дотошного Довбню, зачем понадобился, не случилось ли чего чрезвычайно важного. И при этом назвал его «товарищем старшиной».

— Так, ничего особенного, — старшина потрогал усы, зыркнув исподлобья. — Пойдемте прогуляемся. Если, конечно, будет ваша воля.

— Воля будет.

— А может, все ж таки обождете? — неожиданно вмешалась хозяйка. — Совсем забыла про вареники, подогрею! А кой-чего к ним. Мало ли... Ветрюга на дворе! Вот и Стефка с нами посидит, все ж таки не чужая нам.

Стефа нахохлилась, покраснела, отчего на переносице у нее густо взошли конопушки. Митрич молчал, не удивившись воспламенившемуся гостеприимству жены.

— Нет уж, извиняйте, — сказал старшина, — не то время, служба... Вот с командиром походим, подышим воздухом.

Хозяйка развела руками да так и не опускала их, пока они шли к дверям. У порога Митрич тронул Андрея за рукав:

— Еще увидимся, лейтенант.

А Стефка совсем по-детски улыбнулась, кивнула Андрею, как бы присоединяясь к словам Митрича.

Они вышли на мороз. Утром соломенные хатки уже не казались такими таинственными, как вчера, хуторок пламенел под лучами солнца.

Старшина вынул свой знаменитый кисет. «И что он, собственно, бегаёт за мной? — подумал Андрей. — Заходил — не застал. Может быть, его приход связан с постоем у Фурманихи: еще потребует вежливенько сойти с квартиры, где ребята так славно устроились, выделит в клубе какую-нибудь холодагу, топи ее. Черт его знает, какие тут у них порядки».

— Какой-то он чудной, председатель ваш.

— А что? — Старшина бросил на Андрея быстрый взгляд.

— Грустный старик, точно больной. И жена...

Старшина ответил не сразу, молча свернул по тропе к оврагу, к наезженной дороге. Лейтенант все еще не понимал, куда он его ведет.

— Какой он старик? С такой бабой и слон не состарится.

Андрей кивнул неопределенно.

— Это ж не баба — черт. Сколько я ее знаю, еще с тридцатого, писарскую дочку. За самим войтом замужем была.



Они ведь, начальство, за свой круг не ступали. А войта кабан пришиб на охоте. Вот и взял ее Митрич, простой объездчик, с парубков сох по ней. С дитем взял.

— Так Степан не родной ему? То-то вид у него не деревенский.

— Деревенский — не деревенский! — буркнул старшина. — Думаете, раз деревня, так лапоть. Культура, она в душе человека, а не в должности.

— Вообще да...

— Вот так... А ее, видно, до сих пор червяк точит. Вроде бы в дар себя принесла, принцесса. — Довбня сплюнул. — Баба, темная душа.

Говорил он нехотя, как бы по долгу службы вводил в курс, в голосе все еще похрипывало, и Андрей поспешил сместить тему, безотчетно переводя разговор на Степана: чем-то он приковал его. Знакомое лицо... Почему-то вспомнился вчерашний вечер, стопка белья, взятая в постирушку у Степы.

— Дружит с Настей?

Довбня нахмурился.

— Может быть... По холостяцкому делу захаживал. Со Стефкой-то не просто, там жениться надо. — И неожиданно улыбнулся. — Стефа кружок в клубе ведет. Хорошо пивает, прямо соловей.

— А в войну что он делал, Степан?

Старшина, прищурясь, скосил глаза:

— Где-то у тетки, что ли, в дальнем селе, от мобилизации ховался. Потом Митричу помогал, как связник. Он, Степа-то, мальчик занозистый, да характеру нет. Мамкин сын. Когда-то, при панстве, вьюношей наших, хохлов, возглавлял, когда по дедовой писарской протекции во Львове учился в университете, молодежным кружком командовал. Книжки они там читали, одним словом, культуру свою отстаивали. Батки гнулись в три погибели, а он, вишь, в паны выбивался... Ну, в тридцать девятом первый курс кончил, а тут комсомол открылся, он и там, видно, хотел покомандовать, а его и не приняли вовсе, ха-ха... В комсомол-то ему бы Митрича фамилию взять. Не захотел — гонору полны штаны, весь в мамашу.

Довбня нет-нет и взглядывал на Андрея, видно, дорожил произведенным впечатлением: мол, все он тут знает и всех — насквозь.

— Вот они втрсем и печалются.

— То есть как?

— А так: батка из-за этой карги, карга из-за неудачного брака, а сын... Летом во Львов ездил на заочный поступать. А пока ошивается завклубом. Видно, бог роги не дал, языкатый он, всякую трепню заводит про самостийность, дурило... Ну, они-то к выстрелу отношения не имеют! — Глаза Довбни пытливо сузились, Андрей понял, что тут-то и есть самое главное: кажется, Довбня видел в нем соперника по розыску, дорожил престижем местной милиции. — Вы же по этому поводу заглянули к Митричу. Можно ж было бы и на работу в будний день...

— Я познакомиться зашел.

Андрею стало смешно. Довбня все поглядывал на него, потом и сам невольно подхихикнул, да тут же, насупясь, тряхнул головой, поправил кубанку с красным перекрестьем наверху.

— Значит, познакомиться?

— Конечно...

— Вот здесь, — услышал Андрей за спиной его басовитый голос.

— Что?

— Вот здесь он и стрелял, верней, отсюда. Гильзочку я тут нашел. — И он протянул ладонь, на которой блестела гильза от «шмайсера».

Они стояли на склоне оврага, закрывавшего дом Митрича. От небольшой копны тянуло запахом сена. Вокруг, сколько хватал глаз, до самого леса бело хохмилась поля. Ветер, хмельной жесткий, забивал дыхание. Низкое небо несло к востоку, заволакивало дальний лесок, откуда выезжали на дорогу сани с дровами, слышалось понукание, мужской говор.

— А что тут делал затемно этот стеклодуд Ляшко?

— А дрова-то и вез.

Андрею стало ясно, что если и стреляли, то без ошибки: принять возчика за кого-нибудь из районного актива было немисливо. Он сказал об этом старшине, тот мешкотно, торопясь, вытащил тетрадку откуда-то из-за пазухи, едва не порвав. И сделал пометку, лизнув карандаш.

— Зачем это?

— А так, интересно ваше мнение. А может, он и вовсе не стрелял? А? Просто тому почудилось? Как пуганой вороне.

— Нагар на гильзе свежий, — сказал Андрей, возвращая находку.

— Ах ты, господи, — почти естественно изумился старшина и опять записал.

Он был себе на уме, Довбня, просто старался прощупать, что за птица перед ним, играл в протаска. Андрей невольно улыбнулся, но и это не скрылось от дошлого старшины...

— Я вас прошу это дело оставить нам, — сказал Довбня, отводя взгляд, но довольно твердо. — Только лишнего шуму неделаем. А вы бы по своей должности с людьми познакомились, походили по квартирам, человек образованный, рассказали бы гражданам про внешнюю, внутреннюю обстановку и так далее.

— Попробую.

— Вот и прекрасно!

— Ладно, — сказал Андрей, и в эту минуту вдруг захотелось назло Довбне самому распутать клубок. Довбня, поймав его руку резко пожал, прощаясь.

— Вот это дело, за это мы вам всем спасибо скажем.

\* \* \*

Он вовсе не собирался агитировать граждан поселка Раки-таны. Сама жизнь агитировала за себя: пустили завод, есть заработок, открылся магазин, хотя и по карточкам. При нем-

цах вообще жизнь точно замерла на распутье... На заводе свой актив, свои агитаторы. У него же была одна задача: нести караульную службу, следить за порядком, леса-то рядом — вот и все. И еще самому проголосовать вместе с солдатами на этих, как сказал Сердечкин, первых, мирных, веселых выборах.

Вот выстрел, если он только был, это уже ЧП, и Андрей не мог обойти его стороной, как бы там ни страдало честолюбие Довбни.

О хождении по квартирам не могло быть и речи: расспросы только насторожили бы, внесли nervozность. В одном Довбня прав — это Андрей понимал при всем отсутствии сыскного опыта, — надо быть поближе к людям. Поэтому решил сходить на завод, познакомиться с товарищами, ведь не чужой же он им, хотя и гость.

Но еще прежде, чем собрался, солдаты неожиданно-негаданно были втянуты в предвыборную кампанию.

Утром к ним в кухню влетела эта певичка с конопушками — Стефка — и щебечущим своим говорком, ничуть не смущаясь, спросила у отдыхавшей на нарах смены:

— Хлопаки, кто з вас спива? — При этом она чутьчку сморщила носик — воздух был не первой свежести, особенно если учесть шесть пар свисавших с печи солдатских портянок.

— Я сейчас проветрю, — сказал Андрей. — Может, вы пока выйдете?

— Ничего, — сказала она, отмахнувшись, — если я зловлю в этом омуте хоть одну певчую рыбку, все окупится.

Она повернулась к нарам, солнце упало на ее личико, затаянно, по-женски серьезно блеснули карие глаза: вот тебе и девчонка

— Так поможете, товарищи, самодеятельности? То будет бардзо добже \*. И польза людям.

Только теперь стало ясно, что она смущена и оттого говорит чересчур бойко, чуть приглатывая слова. Андрей зря старался. Невозможно было поймать ее взгляд, она словно и не замечала его присутствия. Ребята, слегка обалдев от певучего говора этой, словно занесенной к ним ветром снегурочки, умоляюще пялили на Андрея глаза. Колька приминал пятерней волнистый чуб, для бабенковского ежика это было бессмысленное занятие.

— Да мы ж все спиваем, — наконец заметил Бабенко.

— То може так быть? — обрадовалась Стефка, по-прежнему не глядя на Андрея, и он с какой-то смутой в душе отметил, что это вполне естественно: «Тебе уже двадцать три, старик, съела война твои годочки».

— Может, — зажгется Бабенко. — Мы в строю поем, тот же хор.

— Не то, не то.

— У Кольки гитара.

— И еще тенор, — уточнил Колька, потерев небритую, без-

---

\* Очень хорошо (польск.).

временно серебрящуюся у висков щетину. — Знаю двадцать песен. — Очевидно, он имел в виду одесский репертуар — усладу разведческого быта.

— Кончай травить, — сказал Андрей.

— Правда, — сказал Колька. — «Жди меня» под гитару подойдет?

Он выволок гитару и бойко тренькнул.

— Еще як! — всплеснула руками Стефка.

Николай вдруг зачастил фальцетом, рванув струны:

— Купил тебе я боты,  
Пальто из коверкоты  
И туфли на резиновой ходе,  
Раз-две.

— Не, не, — засмеялась Стефка. — То не подходит.

— Могу прочесть стихи, — заметил неулыбчивый помком-звода Юра Королев, он любое дело воспринимал серьезно, даже с известным преувеличением. — Если товарищ лейтенант отпустит.

— Подумаю...

— Спасибо, — сказала смеющаяся Стефка на этот раз Андрею. — Завтра малый концерт на заводе, после митинга. Потом поедem на хутор.

Она попрощалась общим кивком, так что Андрею тоже перепала какая-то доля, и вышла первой, а за ней тронулись Николай и Юра — провожать. Николай даже попытался галантно взять ее под руку, но без особого успеха — все это Андрей видел сквозь подмерзшее окно.

\* \* \*

В первый стекольный цех он попал точно мальчишка в ожившую сказку, стоял, разинув рот, смотрел на радужные пузыри стекла над длинными дудками, пока не почувствовал на себе любопытные взгляды со всех сторон, не ощутил, до чего глупо выглядит.

— Откуда, лейтенант, за какой нуждой? — суховато спросил пожилой аскетического вида мужчина в выцветшей гимнастерке со следами погон.

Мужчина этот оказался старшим мастером по фамилии Копыто. Бывший партизан, предзавкома Денис Денисович Копыто, как представился он чуть погодя, когда Андрей объяснил цель визита.

— Хотелось бы поговорить со стеклодувом Ляшко. Если можно.

— Можно, почему нельзя, — сказал Копытс и вынул из кармашка брeк огромные, луковицей, часы. — Через пять минут у нас митинг по займу. С артистами на закуску... Попри-сутствуете? А Ляшко вон. — Мастер кивнул в дальний угол, где маячила коренастая фигура в рубаше, казавшейся розовой в отсветах печного пламени.

Но взгляд его, скользнувший в сторону Ляшко, будто споткнулся на пути, даже сердце бухнуло: Стефка!\*

Главная «артистка» склонилась у стола ОТК, с интересом разглядывая ажурные изделия, а рядом с ней этот самый —



красавец с эмалевыми глазами — Степан в новеньком сером костюмчике в клетку. Вырядился, как на праздник. Да ведь у них и впрямь праздник — выступление перед рабочими. В руках у Степана красовалась какая-то громоздкая штука с подвесками, люстра, что ли, он крутил ее, как-то чересчур внимательно рассматривая, доведывая висюльки.

Андрей внутренне весь подобрался, прислушиваясь как бы со стороны к каждому своему слову.

— Подожду, если не мешаю.

— Что вы, — улыбнулся Копыто, — почетный гость. Не было б вас — не было и нас. Ни выборов, ни завода.

— Ни этих царских люстр, — неожиданно заметил Степан, не оборачиваясь. И чуть заметно хмыкнул, бросив на Стефку многозначительный взгляд. Приподнял за крюк собранную люстру, засверкавшую стеклянными свечами.

— Яка гарна! — всплеснула руками Стефка. — Як старинная...

— А некоторым не нравятся, — произнес Степан громко, ни к кому не обращаясь. — Тут у нас лектор был в клубе. Он наши абажуры назвал гнилой мещанской пищей. — Усмехнулся и снова приподнял сооружение из стекла.

Андрея будто за язык дернули:

— Они, действительно, не того, без вкуса.

— А мы иначе пока не можем, як то кажут... не доросли, — вспыхнула Стефка, хмуро глянув на Андрея, и отвела глаза.

— Еще научитесь, — улыбнулся он.

— А то можно вместо этого мещанства повесить коптилки, — колко заметил Степан. — Можно ваши фронтные, из патронов, то будет вкус.

— Да что это вы, братцы. Будто ссоритесь! Молодежь... — Копыто укоризненно растопырил руки, словно бы прося прощения за бестактность Степана. Немая эта сцена, рассерженный Стефкин вид почему-то развеселили Андрея. Узкое лицо Степана побагровело — чудной, какая его муха кусает?.. И вдруг Андрей вспомнил, нет, он не мог ошибиться, память его никогда не подводила: его тогда еще поразила необычная форма лица. Было это летом сорок четвертого где-то здесь, за окраиной Сарн, в лесу, куда он пробрался с группой разведчиков...

Тогда лицо это было искажено от страха, синие глаза будто выцвели, и он даже не вырывался из рук Лахно — старшего, а только заикался и все лепетал, что он не партизан, он просто охотник, вышел за дичью, вот и пистолет трофейный, есть, мол, нечего, пока его не прижали, — тут же и раскололся, признав в них русских, советских, и, весь дрожа словно от радости, сообщил, что партизанская база недалеко, у Ракитян, он покажет, проведет. Юлил, как собачонка, то и дело переспрашивал: «Так вы в самом деле свои?! Вот счастье, вот счастье...» У них было другое задание — отпустили «охотника».

И сейчас у Андрея мелькнула озорная мысль — напомнить Степану. Но что-то удержало его. А вдруг все-таки ошибся? Он лишь сощурился смотрел на парня, в заблестевшие его глаза.

Распахнулась дверь, в цех ввалилась толпа молодежи —

среди них Андрей увидел Юру и Николая, и сразу стало празднично от смеха, говора, сверкания монист, белых мужских рубах с яркой вышивкой.

— Давайте, давайте, артисты! — громко приветствовал Копыто, — вон туда, в красный уголок, готовьтесь пока, ведите их, Стефа, зараз и мы соберемся...

— Так беру люстру? — спросил Степан.

— Бери, бери, потом оформим как подшефным... — Степан стал укладывать звенящее стекло в картонную коробку. — Может, и вы скажете пару слов, лейтенант, на тему патриотизма, как говорится?

Андрей пожал плечами, поймав на себе все тот же пытливый взгляд Степана, казалось, тот все еще не мог успокоиться, чутко следя за каждым его движением.

— Так вот и давайте, на тему патриотизма, — сказал Копыто, — из фронтового опыта.

— А как то понимать — патриотизм? — как бы между прочим спросил Степан, не спеша перевязывая коробку. И в голосе его проскользнула усмешка. — Слово это при всех властях звучало. А что оно такое, а? Вот вы, когда шли в бой, про что думали? — он покосился в сторону Андрея. — Про землю, что ли? Так вранье же это. — Стеклодувы, что были поближе, заинтересованно оглянулись. Степан поднял полыхающее лицо, встретив любопытные взгляды земляков. И тут же кинул им: — Я знаю, неудобно с гостем спорить. А все же что оно такое, что за категория чувств? Кругом вот лозунги, громкие слова, а что в человеке на самом деле делается, когда он, скажем, в атаку рванется и даже «ура» не кричит, о чем думает?

Андрей слушал его, стараясь понять, что за всем этим кроется, уж слишком все демонстративно, чтобы поверить в искренность, скорее подвох, игра на публику. На Стефуку?

— Оттого и шел, — неожиданно оборвала его Стефка, — бо солдат мужчина. Долг выполняю...

Торопливо отряхнула пыль с ладоней, пошла к дверям красного уголка, заметив на ходу председателю завкома:

— Дядько Денис, время.

В тишине было слышно, как забренчал абажур в поднятой на плечо коробке.

— А выпустят меня с этим грузом? — спросил Степан.

— Выпустят, выпустят, — произнес Копыто, — директор разрешил, у вахтера указание.

Предзавкома сказал Ляшко о желании Андрея поговорить с ним. Тот словно бы не торопился в шумевший многоголосьем красный уголок, вытирал ветошкой руки. Притухшее в жерле пламя бликами играло на его квадратном лице с нависшим лбом. На вид ему было лет за тридцать, в резких складках у рта пристыла горечь.

— Шо говорить, не больше вашего знаю. Стрѣлил вроде бы с опушки. Я потом туды кинулся, да там не пройти, сугробы... «Неробкого десятка мужик», — подумал Андрей.

— А что касасямо моей личной жизни, переезда, расскажу.

Зайду вечером, как домовимся! Зараз неудобно от людей откалываться.

— Ладно, договорились...

Когда они протиснулись в красный уголок, Копыто, видимо, заканчивал речь, рубил ладонью воздух:

— ...проголосуем на выборах все как один, покажем нашу рабоче-крестьянскую солидарность! И не запугают нас враги ни внешние, ни внутренние, потому как мы сами Советская власть и построим хорошую жизнь. Этот новый заем — удар по разрухе, оставленной фашистами...

— Нас не враги, перебои с хлебом пугают, ты скажи, завком, когда это кончится? — спокойно спросила стоявшая впереди темноглазая женщина в черном платке. — Седня опять не привезли, кажут — вечером, а у людей же диты!

Поднялся негодующий гомон, голоса сплелись.

— Сейчас же позвоню в поссовет, узнаю, — поднял руку Копыто. — Это временные трудности, товарищи. А вот от тебя, Горпина, не ожидал таких шпилек, — он выразительно сверкнул глазами. — Активистка.

— Люди тоже не ожидали, что завком о них забудет...

— Давай сама себя критикуй.

— Так что, Денис, — продолжала Горпина, — все правильно. Ты, наверное, спишь по ночам, а должен бы ворочаться.

— Все наладится, даю вам слово, товарищи!

— Слово, слово, — уже менее воинственно донеслось со стороны. — А то на займы берут, а чего мы от этого займа видим?

— Заем добровольный, — неожиданно для себя произнес Андрей. Упала тишина. Он мгновенно взмок под сотнями взглядов, чувствуя, что говорит что-то не то, вернее, даже не знает, что скажет в следующее мгновение, и, лишь хватаясь за всплывший в мыслях спасительный образ Сердечкина, упрямо повторил: — Заем добровольный. Вас не заставляют отдавать заработок.

— Я же дал слово райкому от имени цеха!.. Поручился, — звеняще вскрикнул Копыто. — А вы, лейтенант, не вмешивайтесь.

— Вот видите, — дрогнув, невольно подхватил Андрей, — человек за вас поручился, на сознательность рассчитывал...

Он остро почувствовал внезапно появившуюся невесть откуда опасность.

— Это яка ж сознательность, — неторопливо, с обидой произнес чей-то сильный голос. — Нам лектор говорил — бытие сознательность определяет...

— Общественное бытие, если точней.

— Общественное, лейтенант, и есть, всем обществом без хлеба...

Беспомощность сменила злость — то ли на Копыто, вставшего за его спиной, то ли на этих незнакомых, сгрудившихся в комнате людей, ставших вдруг на одно лицо.

— Улыбаешься, лейтенант, — сказал тот же голос, — а нам не до смеха. На картошке сидим.

— Может, еще с маслом?

— С подсолнечным.

— А вот наш шофер Николай, — процедил Андрей, упершись взглядом в одну точку, — вон он в углу, чубастенький, он бы рад сейчас на одну картошку, вообще без ничего, только бы жить с дитем, а у него всю семью немцы расстреляли. Одна мать и спаслась. А вы, видно, горя не нюхали, раз так ополчились... А нам по суткам голодным по вражьи тылам приходилось. И смерть на каждом шагу, это как? — Он уже не соображал, что говорил им, прорвало. — Вон вам цех пустили. Новый строят. Кто помог? Дядя? Или государство?..

Все притихли. Кто-то сказал:

— То ж война.

— А сейчас война с последствиями войны, — оправившись, вставил Копыто и слегка оттер Андрея плечом, видно, все еще недовольный чужим вмешательством. — Полстраны разрушено к едреной матери, кормильцы еще не демобилизованы, восстанавливать все с нуля... А вы мне про сознательность бормочете...

Андрей, расталкивая людей, пошел к дверям, увидел перед собой виновато моргающие глаза Ляшко.

— Не обижайся, лейтенант. Ну, нагорело у людей. Помогать друг дружке надо...

— А он и помог, — заметил кто-то со стороны. — Хоть он по-человечески объяснил. Все бы так объясняли, чи мы не поймем, тоже ж люди... Не сердись, лейтенант.

— Да я не сержусь, с чего вы взяли?

— Давай закурим, наш табачок — горлодер. В ноги шибает...

— Товарищи, значит, решено, — закричал Копыто. — А сейчас послушаем нашу самодеятельность. Стихи и песни. С участием товарищей солдат. Давай, Стефка!

Что-то Андрею расхотелось слушать стихи и песни, он кивнул Ляшко: «До встречи» — и, миновав обдавшие жаром печи, вышел во двор.

\* \* \*

Так уж получилось: проверив наряд, Андрей не сразу пошел к себе, а заглянул по пути к Ляшко. Тот как раз надевал тулуп. Увидев лейтенанта, облегченно развел руками:

— Ну и добре, не люблю по гостям ходить, да еще на ночь глядя. Может, чарку с морозу?

Чисто выбеленная, почти пустая комната с аккуратно покрытым гуцульской накидкой топчаном, скобленный дощатый стол, табуретки.

От картофельной самогонки в граненых стаканах пахло сивухой, зато капуста была хороша, да и хлеб — привезли все-таки — свежий, хрусткий. Ляшко выпил не морщась, будто не ощущая вкуса, вид у него был по-прежнему рассеянный. И речь его звучала отчужденно, словно говорил не о себе, а так, что-то давнее вспомнил вслух. Лишь глубокие складки у рта выдавали старую боль...

Это случилось не более полугода назад: банды ОУН, уходя за кордон, собирали «добровольные» пожертвования, выходили из леса по вечерам, брали по хатам что могли, разоряя у строптивых хозяев сундуки с нехитрым достатком. У Ляшко только и было, что брошка с камушком, хорошая вещь, купленная по слу-

чаю. Хлопнул на нее все, что было, — не пожалел для невесты, работавшей так же, как и он, по керамике в родном городишке, в мастерской. Может, и отдал бы, да ведь стыд у будущей жены отнимать подарок.

— Значит, жалеешь на дело народное, тварь!

Трое их было. Двое в избе, матерые, в небритой щетине, третий, с автоматом, снаружи. Его Ляшко не разглядел, окна заморожены, вроде бы помоложе — худощавый. А этих двоих запомнил.

На всю жизнь.

Кинулись они к Ляшко. И что на него нашло в ту минуту? Потерял себя, вырвал брошь из чужих рук и швырнул в морду старшему. А дальше все как в дурном сне. Неживая какая-то, сладкая улыбка бандюги, поднятый приклад. Ляшко упал не ойкнув, потом пришел в себя от резкой огненной боли под ложечкой. Били его сапогами насмерть. Случай помог — мимо проезжал милицейский наряд, спугнул нелюдей. Но оставаться в родных местах было нельзя... вот он и перекочевал. Тут уже и обжился. С невестой переписывается, правда, редко. Обещает приехать к весне.

— Да только мужик я уже неважный. Печень отбита. Вот Фурманиха травами отпаивает... А как вспомню этих, бывает, такое найдет...

У Ляшко задергалась щека, он прижал ее ладонью, что-то хотел добавить и лишь перевел дыхание, утерев горстью проступивший пот...

В дверь постучали — видимо, для приличия, — и Андрей увидел тут же вошедшего Копыто, за ним бочком протиснулся долговязый Степан, с какой-то смятенной улыбочкой на лице.

— Вот, — сказал Копыто, искоса неодобрительно окинув стол с бутылкой. — Шли мимо... Нет, нет, нема часу рассиживаться. Во, просит человек для клуба большую такую вазу, как она — керамика, что ли! Заплатят тебе за особый заказ, завод-то таких вещей не делает, но ты, как мастер по этому делу...

— Для цветов вазу, — сиповато заметил Степан и прокашлялся. Глаза, устремленные на Ляшко, возбужденно поблескивали.

Ляшко промолчал. Степан, словно бы осмелев, попросил:

— Уж не откажите....

— Да я что. Только рано для цветов еще, куда спешить.

— А мы загодя, а то посадим домашние к выборам. Девчата ждут. Уж мы вас отблагодарим.

— Ладно, попробую, без благодарностей. Для общего дела, так сготовлю. Может, все ж таки присядете?

Степан не прочь был принять приглашение, даже снял шапку, но Копыто растопырил ладони:

— Завтра рабочий день. И вам не советую.. Пока.

Он вышел, и Степан, поколебавшись, пошел следом, неожиданно подмигнув на прощанье.

Какое-то время сидели молча.

— Строгий мужик, — сказал Андрей. Ляшко все еще был полон прошлым и не сразу отозвался.

— А, да-да, — вздохнул он. — Война его ковала, партизанщина, откуда ж мягкости быть? А так-то он ничего, завком наш.

— Значит, запомнил их? — спросил Андрей, возвращаясь к начатому разговору. Вдруг мелькнула, тут же растаяв, смутная догадка.

— Больше их не встречали?

— Думаете, этот... что стрелял в меня? Так ведь далеко он был. Не разглядел я...

— Значит, все же видели человека? — Вот это новость. Довбне об этом не было известно: видимо, промолчал Ляшко, обжегся раз, теперь бережется...

Ляшко пытливо взглянул на Андрея, сказал тихо:

— Будто мелькнул на опушке кто-то в белой папахе, рослый, крупный. А может, помстилось. Что болтать попусту! — И добавил печально: — Или вы думаете, за мной они гоняются? Те давно ушли, да и нужен я им, как ису карман...

Продолжать разговор вроде бы ни к чему. Андрей поднялся.

— Спасибо за угощение.

— Не стоит. Рад, посидели трошки, а то один тут, как волк. Хотел что-то добавить и только махнул рукой.

• • •

Юра принес котелок пшенной каши, горячей, рассыпчатой, только масла в ней не хватало, но так как масло Андрей пробовал у Ляшко, то можно было считать, что все в порядке: какая разница в конце концов — вместе с кашей или порознь? Склоняясь над алюминиевой мисочкой, Юра слушал рассуждения Андрея без улыбки: по молодости лет, а также благодаря развитому чувству субординации — с юмором у него было туговато.

— Плохо со снабжением, — заметил Юра, — ворчат ребята.

— Еще что?

— Колька все в отпуск просится, как будто не понимает ситуации... А что сказал Ляшко?

Андрей коротко рассказал своему серьезному Юре о беседе с переселенцем. Тот так и впился в Андрея глазами-черешнями.

— Ясно, месть!

— Ага, — усмехнулся лейтенант, вспомнив собственные домыслы, и скосил глаза на Юрину тумбочку, где лежала стопка затрепанных книг с таинственными названиями: «Пещера Лейхтвейса», «Ночной призрак»; он раскопал их в полку, на штабном чердаке. И одна из них стояла сейчас перед его миской: даже высокая дисциплинированность не могла вышибить из помком-возва детскую привычку читать за едой.

— А что?

— Нет, ничего, — сказал Андрей. — Тайное общество бандюг специально поселилось в здешнем лесу, чтобы расквитаться с непослушным.

Юра недоверчиво покачал головой.

— Шутите?

Наконец-то дошло.

— А если кто-то побоялся быть узнанным?

Это уже на что-то похоже. Об этом и Андрей думал. И шутить ему на этот раз не хотелось. Хотя, чего же опасаться, если хоронишься в лесу. А что, если...

— Ложись спать, — сказал Андрей. — Приятно почитать перед сном жуткий роман.

— «Из пушки на Луну»!

— А-а, меняются интересы?

— Нет, Жюль Верн — постоянный.

— Только сначала надо проверить посты. А то Мурзаев вчера стоя задремал.

— Непохоже на него.

Помкомвзвода опустил глаза.

— В чем дело? Без ложной солидарности.

В Юре была хорошая закваска. От командира таиться не стоит. Тем более что лейтенант считался справедливым командиром, людей придирами не допекал.

— За Кольку он дежурил. А... а тот ходил на хутор к какой-то Насте.

— Ясно.

— Но у него это серьезно, — поспешно добавил Юра.

— Само собой.

— Она ничего. Воспитывает детей.

«Интересно, когда только успели снюхаться? Ай да Настя».

— Николаю заступать в одиннадцать? Пусть перед сменой зайдет.

— Есть.

Юра тщательно отмыл миску под рукомойником, благо без жира — холодная вода брала ее начисто. Потом он оделся и вышел, прихватив автомат. Андрей посидел немного, вышел на веранду покурить и тотчас увидел знакомую белую дошку. Стефа расхаживала взад-вперед у барака. Она тоже заметила Андрея и тотчас заспешила прочь, даже не взглянув в его сторону.

— Добрый вечер, Стефа, — сказал Андрей вдогонку с порядочным опозданием.

Она нехотя обернулась, изобразив удивление.

— Еще не спите? Добжи вечер.

О чем говорить дальше, он не знал, а тут еще сердце — с чего бы это? — гулко застучало. И он забормотал что-то бессвязное, пытаясь уловить в сумерках ее взгляд под надвинутой шапочкой.

— Рад вас видеть живой, здоровой... то есть... а вы далеко?

— А вы думали — я уж нежива?

— Да нет... Просто давно не видел... С обеда...

— Куда сбежали з цеху?

— Что вы, Стефа, я не хотел вас обидеть. — Теперь они шли рядом и почему-то свернули за барак — на улицу, мороза он не чувствовал, щеки горели.

— Езус-Мария, чего мне обижаться? — И смешно отмахнулась ладошкой, точно сметая снежинку с подбородка, а он, торопясь замаять неловкость, брякнул невпопад:

— Стефа, вы куда, собственно, шли?

— Я так, гуляла... К вам!

Задержав дыхание, он сказал как можно равнодушнее:

— Ну, вот я.

Наверное, с нервами все-таки было не совсем в порядке. Ее легкое движение он воспринял как желание повернуть назад и ухватился за пушистый рукав.

Она взглянула исподлобья.





— По то з вами?

— Да так... хотел взять вас под руку... долг вежливости. Это принято, — пробормотал он. — А вообще, мне показалось, что вы уходите.

Она фыркнула в поднятый воротник, и он отпустил рукав.

— Я вам нужен?.. По делу?

— Ну!.. Як вы решили насчет ребят? У нас скоро поездки на село.

Что ж, у нее был достаточно серьезный повод, чтобы торчать на холоде. Похоже на правду, во всяком случае, он снова повеселел и даже похлопал ее по плечу, ведь она и впрямь девчонка по сравнению с ним. Какого же черта он теряет?

Она посмотрела на свое плечо, словно там остались следы его снисходительного похлопывания.

Лучше бы отвесила оплеуху. Должно быть, раскусила его беспомощную игру, и ей стало смешно. Еще бы — этакий дядя заигрывает с ребенком. Ужасно...

Надо было немедленно выбросить из головы глупости и настроиться на трезвый лад. Он хотел сказать: «Забирайте солдат, пускай поют и декламируют. Мне пора, совсем неподходящее место для пустой болтовни». А вслух сказал:

— Значит, вам понравились наши ребята, а кто из них больше — Коля или Юра?

Она неожиданно обернулась — лицом к лицу, шутиливо толкнула его обеими руками в варежках, от которых повеяло теплым запахом шерсти.

— Оба, — сказала она, мотнув головой, — оба...

Господи, подумал он, пошляков никто не сеет, они сами рождаются. Что он вообразил, о чем подумал, увидев ее?..

— Чудачка, — сказал он глухо.

— А ты?

И от души рассмеялась.

Он не знал, что и подумать. Стефка, прислонясь к штакетнику, постукивала каблучком, глядя в студеное, усыпанное звездами небо.

— Что ты там увидела интересного?

— Нип... горят божьи лампы.

— Звезды по-твоему, лампы?

— Ну... — Сейчас она снова была озорной девчонкой.

«Ничего себе руководитель агитбригады. Да она ведь католичка, должно быть, в двенадцатом колене, не меньше, и одно другому не мешает. Окончив репетиции, она перед сном молится на свою матку боску».

— Ты верующая?

— А ты нет?

Спятить от нее можно было, но в конце концов это веселее, чем просто молчать, тем более что говорить, в общем-то, не о чем. Скорее бы уйти, забыть о ней.

— Учиться тебе надо, — сказал он.

— То добже бы... Только до Львова далеко. А вот мы собираемся в Ченстохов, к отцу. Там есть музшкола.

— Скоро? — спросил он затаив дыхание.

— То юж карта была оформлена. Чекали брата з плену, а

он сразу туда поехав, там и помер, з лагеря у него болезнь легких... Тераз чекам следующую партию. Може, в феврале.

— Плохо...

— Не треба ехать? — быстро переспросила она.

— Плохо, что брат... — сказал он. — А знать надо не только нотную грамоту. Смешно, молодая девчонка и вдруг — верующая. Так и останешься невеждой, с божьими знаниями в двадцатом веке?

— Цо то е — невежда?

— Темнота. Учиться надо, — повторил он.

— Вы з мной, — она вдруг перешла на «вы», — як з дитем розмовите.

— А вы взрослая?

— Ну.

— Тогда прошу прощения.

Она слегка подалась к нему. Глаза ее были совсем близко, темные омуты — в каждом по звезде.

— Ну, так вы согласны? — Она слегка отпрянула, прижавшись к забору. — Отпустить солдат?

— Что?.. А, ну да...

— Да чи нет?

— Да. Берите их обоих, если пойдут.

— То добже. И Степан сказав — будет здорово.

— А, Степан?.. Кто он вам — жених?

Она пожалала плечами, и снова этот смешной жест — легкая отмашка.

— Не вем. Может и так.

И вдруг спросила, словно бы неожиданно для самой себя:

— А где ваша мама жие?

— Нет у меня мамы. Умерла перед войной. А отец погиб в сорок первом. На фронте.

Она прикоснулась варежкой к его щеке, и он стоял не дыша.

— Зовсем нос бялый, ходить до дому.

— А вы?

— И я... Приходите до нас.

— Когда? Домой?

— Кеды захотите.

— Спасибо.

Она повернулась на каблучке и, помахав на прощанье, исчезла во мгле. Точно ее и не было.

\* \* \*

Пани Барбара, костлявая, в ватнике и старой шали, завязанной наперехват у пояса, поставила на лавку ведро и выжидающе уселась в уголке на топчане.

— Корову доила? — спросила Стефка.

— Не козла ж. — Она выпростала из шали худой подбородок, и, пока они со Стефкой возились у вешалки, снимая пальто, из темного угла отчужденно мерцали ее глаза, в которых мешались любопытство и неприязнь. Андрей ощущал этот взгляд все время, пока Стефка в молчании накрывала на стол, то и дело роняя ложки и отрывисто переспрашивая: «Гдзе варенье? А заварка?» Мать машинально отвечала ей. Выпуклый белозубый, в

ободке губной помады рот, застывший в неловкой усмешке, придавал ее худощавому, в резких морщинах лицу выражение скованности: нельзя было понять — то ли она добра, то ли сердита.

Его приход (еще с утра шутя сказал, что зайдет) не был для матери неожиданностью и, кажется, желанным тоже не был. Андрей слегка робел, наотрез отказываясь от варенья и предложенных ржаных пампушек. А Стефка, вся тоже будто на шарнирах, настойчиво требовала:

— Ты ешь, ешь, потом будешь отказываться. Ой, ты барин какой.

— Да не барин, уже ел, дома...

— Не бойся, не обеднеем, правда, мам? Який робкий, а еще офицер!

И эти неожиданно покровительственные нотки обычно застенчивой при нем Стефки вовсе сбивали с толку. Он ловил себя на том, что старается понравиться матери, на душе становилось тускло.

— Давайте, давайте, — отозвалась наконец пани Барбара на смешанном польско-украинском. — Раз юж пшишли, чего там... Мясa нема. извините, а млеко да харбата, чай, по-вашему, есть, проше пана...

— Да не нужно мне мяса! Что я, есть, что ли, пришел?

— А зачем вы пшишли? — вдруг спросила мать. И словно бы хихикнула в ладошь.

— Познакомиться.

— И много вы раз знакомились? — спросила она, уже откровенно посмеиваясь. — Жолежи любят знакомиться, як то у вас поется: одна в Омске, друга в Томске...

— Мам! — оборвала Стефка.

— То юж пошутковать не можно, — смешалась мать. Первой отпила из своей чашки и вдруг словно вся сникла. — Да, кеды то все было, а teraz ниц нема, едеп хлеб...

— Да молоко, — добавила Стефка. — У других и крыши не zostалося — война.

В сенях послышались шаги, глухое хлопанье, видно, гости обивали с валенок снег. Потом в дверях появилась долговязая фигура Степана, следом, замешкавшись, со стесненным видом, переступил порог Ляшко. У Степана забегали глаза, губы сломались в надменной улыбке — видно, не ожидал увидеть Андрея.

— А мы вот шли с мастером, видим, свет горит. И отважились... Примете гостей незваных?

— Я-то сбоку припека, — сказал Ляшко, все еще не отпуская скобу. — Он меня заташил. Сделали вам, Стефа, вазу. Ну, он все грозился поллитру выставить. Знайшов пьющего...

— А я и принес...

— На чужую закуску?

Все засмеялись, только Стефа по-прежнему казалась хмурой. Пани Барбару будто подменили. Видно, обрадовавшись пермене тягостной беседы, засуетилась, выбежала в сени. На белой скатерке появилась тарелка с холодным картофелем...

— Пше прошам, не ждали. Какая тут закуска...

— Сало есть. — Степан кинул на стол тяжелый сверток.

— А ты что, с гостями брезгуешь? — окликнул Степан ушедшую в спальню Стефку.

— Не пью я, — донеслось оттуда, — вы уж сами. Мне надо ноты переписать.

— Ну, переписывай, потом споешь, послушаем...

Острое, обжато морозцем лицо Степана слегка подергивалось, смешок звучал неестественно. Он повернулся боком, под правым глазом его высветился радужный синяк.

— Где это вас угораздило? — спросил Андрей, стараясь сгладить Стефкин отказ и как-то настроить разговор.

— Э, — отмахнулся Степан, — сколько просил своего Митрича — дай лишнюю лампочку... Вот и грохнулся со своей кинобудки, темно, а ступеньки шербатые...

Он произнес это с веселой небрежностью, процеженной сквозь мелкие, плотные, как молочный початок, зубы, молча отмерил стаканом синеватую жидкость...

— Хватит!

— Это я тебе от души, лейтенант, — первый раз с тобой в застолье. Ну и, дай бог, не последний... А что молодая не идет? Стеф! — Он отвалился к стене, правое веко его над синяком чуть заметно дернулось.

— Сказала — нема часу!

— Ну смотри, — хохотнул Степан, — нам больше достанется...

— Ой, и слава богу...

— Вот как... Ну, пани Барбара, поехали, — переключился Степан на мать, присевшую с края стола. — Что это вы на самом углу, замуж семь лет не выйдете.

— Ох, ты скажешь, хоть бы до своего старого добраться...

— Доберетесь. Эшелон обещают к первому...

— То юж сколько обещают. — Она отставила стаканчик...

— Что ж вы пани? Гости в дом, хозяева в закут? Все какие-то встрепанные, как те куры под дождем. Или беседе вашей помешали?

— Цо там за беседа? Так... за добре життя, — отмахнулась она все с той же колючей усмешкой.

— Ну, значит, за добре життя, — повторил Степан, — вот колхозы придут, полный рай настанет. Как это у вас, лейтенант, мое, твое — все ничье... Эхма. — Он глотком осушил стакан, на вдохе кинул в рот листик капусты, смачно хрустнул. — Без хозяина, известное дело, земля — сирота.

Фыркнул с оглядкой на Ляшко, тот промолчал, уставясь в тарелку.

— Чепуху мелешь.

— Ну да?

— Вот именно, — сказал Андрей и сам не понял, отчего вдруг подобрался, одержимый одним желанием — одернуть этого задиру Степана, явно болтавшего с чужого голоса, защитить то, в чем сам он, горожанин, плохо разобрался, но что было его миром, неразрывно связанным со всем, чем жил и дышал. Вспомнилось, как отец во время коллективизации пропадал в командировках и, вернувшись, не сняв пропыленной, белой от пота гимнастерки, засыпал не раздеваясь. Как в голодный год

сельские его друзья в лаптях приезжали к нему за помощью и советом, гостя у них дома по неделям, пока не добивались своего — запчастей, семян; и как сам Андрей потом, уже в сороковом, вместе с однокашниками работал в том подшефном колхозе — жаркая дружная страда, щедрые обеды на полевом стане, по вечерам — танцы под гармошку.

Нет, от плохой жизни люди не стали бы веселиться!

Все это он выпалил в притихшего Степана с болезненным нетерпением, пытаясь уловить в нем какой-то перелом, сочувствие.

— Ты уж мне поверь, перед войной люди стали жить хорошо. Получше, чем у вас тут, где и клубу-то без году неделя... И вообще, не одним жив человек, хоть и сала было побольше вашего. А главное — другая жизнь, когда люди работают на себя и не виснет над ними пан. — И подумал, что в эту минуту похож на замполита. — Понимаешь ты это? При такой жизни люди — друзья, нечего ни ловчить, ни прятать... И страха нет за будущее... А здесь до сих пор — стукни ночью — не пустят. Друг другу не верят, всего боятся.

Он все больше горячился под снисходительно-насмешливым взглядом Степана.

— А что, верно, — сказал Ляшко, поднимаясь и доставая с подоконника шапку. — Не суди, чего не знаешь, Степа... Ну, мне пора, дела.

— Теоретически верно, — обронил Степан, не оглянувшись на Ляшко.

— А практически — победа над Гитлером, — огрызнулся Андрей. — Такая победа из-под палки не дается.

Он встал из-за стола, стараясь поскорей оборвать ненужный этот спор. Хотел уйти вслед за стеклодувом. Но тут распахнулась дверь, и на пороге, согнувшись под притолокой, появился смущенный Политкин, в руке у него трепетала бумажка. Он козырнул, поморгав на свет, и протянул ее Андрею. Тетрадный листок в косую линейку. Разгладив его на столе, пробежал донизу, пытаясь уловить смысл коряво написанных большими буквами строк.

— Листовка, — подсказал Политкин.

«...братья-селяне, знайте: выборы — то конец вольному життю, долой Совиты с их москалями, шо силы нам на шию. Кто пиде голосовать, тому позор и кара!»

Он машинально сунул листок в карман, стараясь сосредоточиться, понять, что же с этой бумажкой делать. Поднялся. Степан тоже потянулся к тулупу, сказал:

— Спасибо этому дому, в другой раз посидим подольше... — И как бы мимоходом спросил: — Что там, приказ какой или отзывают?

— Я выйду, — выглянула из комнаты Стефа, кивнув Андрею.

— Куда? Поздно юж! — сказала мать.

Он вышел во двор вслед за Политкиным и некоторое время ждал, не появится ли Стефа. Сквозь открытую форточку донеслась перебранка, потом резанул пронзительный голос пани Барбары: «Варьятка! Холера!», звонкий шлепок и плачущая девчонья скороговорка.

Он поежился и шагнул с крыльца.

— Дочка с мамкой воюют, — сказал Политкин и философски добавил: — За мир борются... Да, бережет ее от вас, лейтенант.

— Где вы взяли листовку?

— У нас на дверях. Да еще одна на заборе, мы ее на курево порезали, бумаги ж нет... Да главное ж не количество, одинаковы они.

— Люди на месте?

— Николай с Бабенкой на хуторе, в гостях у Насти... До одиннадцати ж можно.

— К сроку не вернутся, пусть помкомвзвода пошлет за ними.

— Ясно.

— Ладно. ходи пока, гляди в оба...

Политкин зашагал вдоль барачков. Андрей все еще не решил, что предпринять: то ли идти с бумагой к Довбне, то ли к Митричу. Он был взвинчен спором, обидой за Стефу, а тут еще эта дурацкая листовка.

И совсем забыл о Степане, только сейчас заметил его, привалившегося к стояку веранды.

— Что расстроен?.. С-сорвалась гуляночка? — сказал Степан, хмельно растягивая слова.

«С чего это его развезло? Раньше где-то набрался или притворяется? Зачем?»

— Наверстаем.

— А-а... Я не про Стефу, я за бумажку эту выборную...

— В сочувствии не нуждаюсь.

— Ну почему же, человек человеку — друг, сам сказал.

— Не всякий.

— А, с поправочками, значит. То-то и оно, а я было поверил.

— Ступай домой спать.

— А что, разве введен комендантский час, как у немцев? — И вдруг угрожающе сунул руку в карман.

— Тебе сказано?!

Степан все еще покачивался, с хмельной откровенной усмешкой глаза в глаза.

— Ты, — сказал он тихо, подавшись вперед, и рука его чуть дернулась в кармане, — ты меня отсюда не гони, я сюда раньше тропку протоптал.

«Вот оно что... А ведь ударит», — полоснуло по сердцу. Показать: руку вон из кармана — не упредишь. А первому нельзя. Взгляды их скрестились, как два ножа.

— В чем дело, лейтенант? — зазвучал совсем близко голос Политкина.

Степан вдруг рассмеялся:

— Да вот, поговорили. Проводи гражданина...

— Не стоит, сам дойду. А ты что, боишься проводить? Уходим вместе, сегодня ничья.

— Я с тобой игры не затеваю.

Он не спеша тронулся. Степан не отставал.

— Пойдем рядком, поговорим ладком. Одному скука... — У развилки посторонился, пропуская вперед. — Начальству дорогу. Или боишься?

Андрей машинально ступил на тропу и подумал: «Может, и впрямь заглянуть к Митричу, показать листовку?»

Он услышал за собой частое дыхание Степана и весь напряг-

ся, ощущая спиной острый холодок. Не нравилось ему все это, поймался на самолюбии, а ничего поделать с собой не мог. Не поворачивать же назад. И этот глупый спор на кухне дал возможность этому красавчику взять верх. Не зря он привязался, сейчас опять начнет запускать коготки.

— Эхма, в башке кутерьма, — певуче произнес Степан. — И у каждого она своя. Сколько голов, столько умов и столько же правд. Двух подков одинаковых не бывает, а вы хотите всех живых на один манер выковагь. Споткнетесь...

— Кто это «вы»?

— Ну, ты. Одни разговоры: друзья, братья...

И снова забухало сердце, точно дали подножку, и ты забахтался, на мгновение прижатый к земле, пытаешься вывернуться, хотя ты и сильней, за тобой правда.

— Ни черта ты не понял, Степа.

— Понял, понял.

— Сомневаюсь.

— Ха-ха.

— Смеешься невесело.

— Да?

Вот когда Андрей почувствовал твердую опору, сделав, по сути, пустячное усилие, и не без тайного злорадства услышал, как Степан запыхтел за его спиной. Чувствовал, что тот элится, и мысленно посмеивался, стараясь не ввязываться, лишь ловить его на слове.

— А ты объясни.

— Тому гаду, кто наклеил это дерьмо, я бы объяснил.

— А может, я и есть тот гад! Каждый вправе мыслить, как может. Разумеется, при демократическом укладе... Или тебе это не понятно?

— Писал бы — не признался.

— Я, конечно, говорю отвлеченно.

— О демократии?

— О своем авторстве.

— Что ж ты при немцах молчал, братец? — спросил Андрей почти весело, не выдавая вновь вспыхнувшей неприязни к этому краснобаю. Нет, вряд ли тогда, под Сарнами, был Степан.

— А может, не молчал?

— Вряд ли. Иначе бы сейчас не трепался. Это была не просто война, как я понимаю. А смертельная схватка между людьми и зверьми, когда у тебя только два выхода — остаться человеком или принять уготованное тебе скотское существование, смириться.

— Ну, народ не обманешь, он знает, чего хочет.

— Вот именно, — сказал Андрей.

— Народ, народ, масса. Громкие слова! Задолбил, как дятел... По-твоему, жизнь — школьная задачка, дважды два — четыре... — Степан вдруг загорячился, дернув Андрея за рукав, заставил его повернуться. Зачастил, то и дело срываясь на язвительный тон: — А масса-то из кого состоит? А? Из кого? Из маленьких людей. А они такие же, как тыщу лет назад: своя рубашка... Думаешь, привесь ему красный бант, он изменится?.. Не-ет!

— А надо бы...

— Философия! А жизнь, она в другую сторону повернет.





— В одну она сторону поворачивает, в одну! — в свою очередь, не выдержав, распалился Андрей. — Если ей не мешать! — То-то и оно...

— ...Не мешать, если она строится на равенстве и доверии. Коллективно! А чего хочешь ты? — Он злился, что позволил втянуть себя в дурацкую прогулку. — И ты меня стреляй — не убедишь в обратном. А частник — волк! Одиночка. В какую бы культуру ни вырядился. Он не верит другому, потому что у самого веры нет, нет идеала. Только бы под себя грести!

Он вырвал рукав из цепких пальцев Степана и зашагал вперед.

— Зависть взаимная, а не доверие! — буркнул Степан. — Чтоб, не дай бог кто не выдвинулся...

Степан замешкался, видимо, угодил с тропы в сугроб и стал обивать валенки.

— Ущемили тебя что ли?.. В институт-то свой небось оформился?

— Неважно... Умному человеку у вас делать нечего.

Андрей вдруг подумал о своих солдатах-новичках, что уходили в бои с ходу в горячие дни под Оршей и Каунасом, так что многих он не успел узнать даже по имени. Сколько из них не вернулось, выручая товарищей. А этот жив... За что они гибли, во что верили, разве он поймет, разобиженный умник? Андрей обернулся, перехватив угрюмо-блесткий взгляд из-под надвинутой шапки. Дать бы ему промеж глаз...

— Умный-то ты для кого, для себя? — спросил он Степана.

— Хотя бы! Отбор — закон природы... Или вы и на природу замахнулись? — насмешливо забубнил Степан, не отставая ни на шаг. — Просили тебя сюда, а? Законы свои устанавливать. Всеобщее братство. Хо-хо... Дай им волю, мужичкам, все полезут вверх, перегрызутся. Все впереди — и первых нет. Демос! Не-ет, это стадо еще попасть надо, законник, ангел ты непорочный...

— Вот как? Значит, ты за демократию без демоса? Оригинально.

Степка словно споткнулся. Андрей досказал, уже не скрывая издевки.

— Выходит, опять-таки диктатура получается? Только твоя, по божьим законам отбора.

Он остановился. Степан тяжело дышал, переминаясь с ноги на ногу.

— Такому умнику дай власть — и он уже наполеончик. Логика?

— Речку, — выхрипнул Степан, — вспять не повернешь. А поверни, она все одно свое русло найдет. И не тебе его мять, не тебе!

— По крайней мере, откровенно... А насчет «звали — не звали» заткнулся бы. У ребят моих об этом спроси. Почти все местные. У себя дома. Да и я из Киева.

— Киев, — точно выплюнул Степан, — между прочим, когда-то шляхетским был.

Андрей едва не уселся на снег, закашлялся от смеха — до того нелепо, должно быть, выглядели они сейчас среди поля, точно на сцене с искусственно повисшей луной: заносчиво нахохлившийся Степа, недоучка, которого он принял всерьез, и сам он,

невольно загородивший тропу, не в силах справиться с душившим его беспричинным смехом. Так и трясло всего.

— Ой, не могу. Извини, пожалуйста. Черт те что... шляхта! Ты-то при чем? Мы же с тобой оба хохлы, дурачина. В мирное время, верно, против пилсудчиков бунтовал, теперь за шляхту прячешься?

Степан будто невзначай обошел его и двинулся по тропинке. Остановился.

— Все верно, — сказал он, слегка качнувшись, с каким-то театральным жестом. — Все правильно. Равенство... Все быются за свои привилегии. С той разницей, что тебя государство за ручку ведет, а другой собственным рылом дорогу долбит. Адью...

Нет, не стоило следовать за ним к Митричу. Листовку отдать Довбне — и пусть разбирается. В сумеречном свете луны, удлинявшей тени хуторских хат, застывшая на миг фигура Степана показалась неестественно огромной.

— А Стефку не трогай, — звеняше донесся голос Степана. — Мы с ней помолвлены. Понял? Иначе пеняй на себя, дважды повторять не буду...

Ого, это уже было серьезно.

Сутулая фигура в кожухе с неуклюже растопыренными руками стала подниматься к хуторку. Андрей смотрел вслед со смешанным чувством жалости и неприязни.

\* \* \*

— Что думаете делать? — спросил Юра, выслушав лейтенанта. В призрачном свете луны, сквозившем в мерзлое окно, лицо его, поднятое над подушкой, казалось настороженным.

Пошарив возле койки, Андрей осторожно поставил на табурет котелок с недоеденной перловкой. От холодной, чуть сдобренной подсолнечным маслом каши во рту оставалась горечь...

— Отдам листовку Довбне, это его компетенция.

— А я не об этом? Ведь то, что он вам говорил... За такие разговорчики, знаете?

Ах, вот он о чем.

— А еще завклубом! Контра. Такие-то листовки и пишут.

— Те, кто пишет, помалкивают, он просто болтун, путаник. И притом провинциальный какой-то. Искатель истины...

Скрипнул топчан, кажется, Юра даже привстал, озадаченный.

— Что ж, вы так и оставите?

— Нет, пойду доносить. В письменной форме. Мол, такой-сякой в таком-то часу сказал то-то... Спьяну да сглупу проявил аполитичность в вопросах социологии

Похоже, это была первая его размолвка с Юрочкой. И спорить с ним было бесполезно. Придет время, жизнь научит.

— Появится Довбня, — сказал Юра, — я с ним посоветуюсь... если можно.

Ну что ж, по крайней мере, честно и не стоит обижаться, сержант действовал по своему разумению... А вдруг прав? Ясно прозвучал в ушах Степкин сочувственный, с подковыркой вопрос: «Чем расстроен, лейтенант... бумажкой выборной?» Откуда ему знать, что «выборная»? Мысль завертелась на одном

месте, точно заевшая пластинка. Он лихорадочно вспоминал подробности, стараясь зацепиться за самую важную, сообразить: «Там, в комнате, он мог заглянуть в бумагу, пока я разбирал каракули?» Когда он спросил? До или после — на улице, после разговора с Политкиным? Кажется, после. Но откуда этот притворный тон, нервы сдали? Однако разыгралась к ночи фантазия. Председательский питомец — автор листовок? Чушь собачья!

— Товарищ лейтенант!

— Спи. Поступишь, как велит совесть.

— А может, вы из-за нее?

— Не понял...

— Ну... как бы это сказать... Ложная деликатность по отношению к сопернику. Все же знают, они жених и невеста. Я-то вас понимаю.

Копнул все же, копнул он его, Юрочка, расставил точки.

— Что ты городишь?

— Я же вижу. Стоит ей появиться, вы прямо в лице меняетесь.

— Учту. Спокойной ночи.

— Мне еще пост сменить. Лишний раз проинструктирую. Насчет бдительности.

— Вот и славно.

— А вообще-то надо бы вам подумать, прежде чем делать шаг...

— Какой еще шаг? Ты трезвый?

— В том-то и дело. Жениться бы на своей.

Наверное, он почувствовал свою бестактность, торопливо добавил:

— Все-таки разное воспитание. Как еще обернется жизнь? Демобилизация, учеба, нужен друг. А она — барышня, что там ни говори... из мешан.

— Все?

— Часы оставьте на табуретке.

— Они всегда на табуретке.

Но уснуть он еще долго не мог, и последняя мысль, расплывшаяся в сонном тумане, была на диво трезвой: скоро выборы — и прощай Ракитяны. И Стефка со своим женихом. Домой пора, домой. Жаль, дома нет...

\* \* \*

В крохотной прихожей участкового Довбни, где сидела старенькая, в плюсовом платице старушка машинистка, Андрей проторчал не менее получаса, прислушиваясь к бурлящему за дверями голосу Довбни, нет-нет и вздымавшемуся до высоких нот.

— Кому это он проповедь читает?

Старушка, как оказалось, бывшая учительница на пенсии, по доброй воле помогавшая Довбне, хихикнула:

— Попу.

И тут же объяснила — поп из Львова, по какому делу, ей неизвестно.

Виновато развела сухонькими ручками в кружевах, глаза на

сморщенном личике вспыхнули, как два желтых солнышка. Осмелев, затараторила со смешной решимостью:

— А вы входите к нему! Входите, и все. Без стука. Он, может, вам даже обрадуется. Ужасно не любит попов. — И, качнувшись в беззвучном смехе, добавила: — Я имею подозревать, что они на него действуют, как алая тряпица на быка... Он ведь из-за них... ну как бы это сказать, слетел с доброго места в Ровно, хотя какие сейчас добрые места? А все ж таки обидно. Он ведь такой умница, я-то знаю... Я, проше пана, полукровка: полуполька-полурусская, преподавала русский язык и литературу... Гоголь, Пушкин, Лермонтов, золотой век поэзии, какие вирши!.. Так он лучший мой был ученик, такой старательный. Жаль, всего четыре класса кончив. Сам-то он был круглый сирота, на казенном коште. Я говорю: «Оставайся, надо тебе в училище идти, я за тебя похлопочу». — «Нет, — мове, — сам себе счастье завоюю, на их панские подачки учиться не стану». И пошел на завод в Ровно да с большевиками съякшался, с подпольщиками, потом всю войну в партизанах... Гордый...

Наконец, Андрей вклинился в старушечью скороговорку, спросил:

— Из-за чего, собственно, слетел, при чем тут попы?

— Из-за того, — доверительно прошептала она, — я, правда, не знаю точно. Но прижал он их в Ровно, униатов этих, в открытую назвал папскими шпионами. Ну, все же это не партизанские времена, надо быть... как это... политес! Да, да, не хватило политесу, дипломатичности...

За дверьми вдруг затихло, как перед грозой, и старушка кивнула Андрею встревоженно:

— Езус-Мария, идите же!

Андрей вошел и увидел Довбню, с полыхающим лицом опускавшегося в свое шаткое креслице, а затем уж попа, в стороне, из лавке. С детства один вид священнослужителя, торопливо шагавшего по Подолу, в длинной черной сутане с развевающейся гривой, внушал смутный страх. Здесь же на лавке сидел прилично одетый гражданин с пробелью манишки в распахе куньего ворота пальто, меховая шапочка пирожком прикрывала подбритые виски. Не зная он, что это поп, подумал бы — какой-нибудь ревизор из области. Да и возраст не вязался с привычным понятием «поп». Он был довольно молод, крепок на вид, с приплюснутым, как у боксера, носом.

— Короче, — сказал Довбня, прижмуря левый глаз, — я вам, пан священник, в этом деле не союзник.

Он поднялся, горой навис над столом, поп тоже встал — ловкий, поджарый, похожий на спортсмена.

— Благодарю за беседу, — сдержанно произнес он и чуть заметно поднял шепот в привычном благословении.

— Оставайтесь с миром, товарищ.

— Да, мира и спокойствия — этого нам не хватает. Прощайте.

Андрей присел на лавку, согретую попом, и некоторое время смотрел на понуро молчавшего Довбню. Сейчас, после разговора с учительницей, он смотрел на него иными глазами: с любопытством и невольным уважением. Не так уж прост, как показался вначале.

Стол дрогнул от короткого удара кулаком.

— Гад, — тихо, с раздувшимися ноздрями произнес Довбня. — Насквозь я их вижу. Гадючие семя. Один такой меня и выдал полициям во время облавы. Я сдурю приюта попросил, вот такие и благословили на дорогу, а за углом меня взяли. Совестьливый народ, холера им в бок, униаты бисовы. Все они из петлюровских гнезд, и митрополит Стецько, и другие, бывшее офицерье в сутанах. И кто их всех, самостийников, только не прикармливал — и паны, и пилсудчики, и австрияки, и фашисты, только бы закатоличить народ, дать дорогу иноземцу и свое вернуть — вот и вся политика!

Довбня нервно зашагал из угла в угол с набрякшим ненавистным лицом, половицы ухали под его тяжелым шагом.

— И завсегда рука об руку с бандюгами этими, не разлей вода... На немецких харчах за самостийность дрались.

— А этот зачем приезжал? — вставил Андрей, чтобы как-то успокоить Довбню.

— А за тем же! Церкву, мол, надо открыть, народ письма пишет. Ишь как они за народ запеклювались. Заботы спать не дают. Вот! — Он рывком открыл ящик стола, расшнуровав папку, вытащил пожелтевший газетный листок. — Шептицкий, патриарх ихний. Послушай божий инструктаж, в сорок первом написано... «Обратить внимание на людей, которые охотно служили большевикам... духовный пастырь должен занять коллективное хозяйство... иметь наготове знамя немецкой армии с вышитой свастикой на белом фоне...» Обратили внимание, как же! Мужиков, кто их освободительные акции не поддерживал, бандиты на кол сажали, в одном селе двенадцать человек, на виду у жен и детей. Это они за народ болели? А пока людей стреляли, Шептицкий уже свиданку американскому агенту назначал, унюхал, чем Сталинград пахнет. А бандеровцы стали выкрадывать из гестапо списки агентов для ФБР. Только бы удержаться да посадить на шею нам новых хозяев. Тоже ради народа?

Довбня остановился у окна, оперся о косяк, прерывисто дыша.

— Национализм — ширма, — жестко подвел итог. — Есть борьба за свои панские привилегии, за доступ к державному корыту! — Он вытер огромным платком взмокшее лицо. — Они ведь как бежали отсюда, в Европе не задержались, там их уже знали, «перемещенцами» сиганули аж в Канаду, под крыло ФБР, и там стали бесчинствовать против добрых людей, земляков своих, да грызться меж собой, обливать друг друга грязью, перед разведкой выслуживаться... Знаешь, как их канадские хохлы называли? Одним словом, как припечатали: гитлерчуки! Вот вся их суть...

Довбня протаял пальцем лед на оконце и теперь пристально гляделся на улицу.

— А куда он поперся, святоша, неужто к Митричу агитировать? — Довбня вдруг надулся, поперечная складка прорезала переносицу. — Чудно! А чего тогда ко мне приходил, раз я этих вопросов не решаю? За поддержкой? Надо же — себя заявил, открыл, как цыган, карты: мол, все честно, в рукаве не спрятано. — И добавил с недобрый прищуром: — А для чего это, если ты по мирному делу прибыл?

— Отвести подозрения, — вставил Андрей и только сейчас

поймал себя на мысли, что сам заражается подозрительностью в соседстве с Довбней.

— А что я об этом думал, — старшина, явно довольный, откинулся в своем креслице. — Появился чужой человек — кто, зачем? А так все ясно. Нейтрализовал милицию. И задержать его не имею права. И хорошо, пусть спокойно бродит, а мы с него глаз не спустим... От этих святош так и жди подвоха.

Он потянулся к висевшему на стене телефону, крутанул ручку.

— Барышня, квартиру Митрича.

— Альо... я слушаю! — разнесся по комнате, усиленный мембраной, слегка встревоженный женский голос.

— Ты, Марина? Митрич уже... Ну да, ясно. А поп к вам не заходил?

Казалось, в трубке возникла мгновенная помеха, все тот же голос, словно бы охрипнув, зачастил:

— Та нет... а як же! Приходыв, ага ж. Там по яким-то своим делам... насчет верующих, та и пишов, куда, не знаю... Может, по деревням.

— Ладно. — Довбня повесил трубку и вдруг застучал пальцами по столу. — Так, так, так, а ведь он еще не успел до них дойти по времени. — Он глянул на часы... — Может, до меня побывал, чего ж опять в ту сторону? — Он снова было потянулся к телефону, да раздумал, как бы про себя повторил: — Так, так... Между прочим, с Митричем буза получается. Тут его выдвинули кандидатом, а он поехал в райцентр самоотвод давать. Мол, стар уже, здоровье плохое, пускай молодых шлют. — Взгляд его стал колючим. — В чем тут загвоздка, а?

Андрей вдруг вспомнил... Молча вынул и положил перед Довбней листовку.

Тот удивленно пробежал ее, выдохнул одними ноздрями, сказал:

— Да, дела. Чуешь, какие дела-то... Какие случайные стечения обстоятельств. Вот тебе и тихий угол.

«А в самом деле: на первый взгляд что-то слишком много, казалось бы, не связанных один с другим случаев: выстрел, поп, отказ Митрича, листовка...»

— Ну так, — сказал Довбня, — я этим займуся. А ты вот что... Слышал, вечером твои ребята с клубными в село поедут. Так проинструктируй, чтобы все честь честью, настропали — никаких выпивок. А то чуть какое ЧП, эти людоеды сразу за рубежом гвалт поднимают. Граница-то близко, и связи у них не все порваны. Каждую оплошку в пропаганду суют.

«Стропалить» ребят не пришлось. Они сидели, его разведчики, такими пайнками, внимательно слушали Юру, проводившего политбеседу. Видно, предстоящий выезд с концертом, общение с людьми подтянули всех. Даже Мурзаев, Политкин и «старик» Лахно, не собиравшиеся в дорогу, выглядели приподнято; видимо, сказывалась атмосфера праздника.

— Как видите, товарищи, — сказал Юра и, взглянув на вошедшего лейтенанта, хотел было скомандовать «смирно!», но Андрей жестом остановил его, — факты либерализма по отношению к военным преступникам и всякая казуистика, с которой

сталкивается наша принципиальная позиция, свидетельствуют о том, что союзники ведут себя не очень-то объективно.

— Ворон ворону глаз не выклюет, — вставил Политкин.

— ...и что наш союз, — продолжал Юра, — как мне лично кажется, во многом обязан общественному, прогрессивному мнению, которое было на стороне нашего государства, чьей политикой всегда был мир, и мы вынесли всю немыслимую тяжесть войны и сейчас стремимся к тому, чтобы гарантировать людям спокойствие.

...Нам с вами это особенно понятно. Бандитизм, как информировал меня товарищ Довбня, еще дает себя знать, и чья рука его направляет, нам известно. Отсюда вывод: главная наша заповедь — бдительность!

— Вот что, друзья...

Все взгляды обратились в сторону лейтенанта, и в глазах Николая он прочел явное беспокойство.

— Ваш концерт не отменяется. Дело доброе, именно сейчас, после вражьей листовки, надо показать себя людям, завязать дружбу, все это хорошо. Но нельзя забывать об обстановке.

Николай кивал, глядя на Андрея широко раскрытыми глазами.

— Выступите и айда домой. Никаких обмывок и гостей.

— Коля, — пискнул Бабенко и застенчиво потер торчащий над лбом ежик, — играй марш «Прощай, Настя».

— Закрой фонтан!..

— Прямо как олень на гону, — сказал Лахно, — хоть в тайгу пускай.

— Я попрошу, — огрызнулся Николай, и Лахно затих.

Бабенко схватился за голову, вытаращив глаза.

— Мати ридная! На своих став кидаться, жених...

Николай, побледнев, поднял сжатый кулак. Бабенко, пригнувшись, со страху зататорил, гримасничая:

— Ты шо, ты шо, сказывся! Товарищ лейтенант, будьте свидетелем, самооборону не применяю, щас стану жертвой.

— Коля, будь же мужчиной, — забормотал Политкин. — Коля, юмор украшает, гляди веселей, как сказывал в запасном старшина, выдавая мне сороковой номер богинок вместо сорок пятого...

— Нужно бы выставить на ночь дополнительный пост к дороге, — сказал лейтенант Юрию, гася размолвку. — Мы обязаны быть начеку.

— Това-а-рищ лейтенант!

Андрей обернулся, уже держась за дверную скобу.

— Разрешите выйти с вами на пару слов.

Николай стоял по стойке «смирно!». Внешне мешковатый, с ленцой, сейчас он был как струна. Но тут дверь отворилась, и впорхнула черно-красная с мороза Фурманиха.

— А вот, детки, что я вам принесла! Мясо парное... Вот... на обед... Не-не, не вздумайте отказываться, по случаю брала задешово, могу я своих мальчиков угостить, я ж вашу кашу ем? Ем! — Она споро вытащила из кошеля узелок и, положив на стол, вздрогнула. Брякнувшись о пол, покатила золотая монета и легла на решку. Старуха быстро нагнулась, и золотой исчез, точно его курица склонула.

— Хорошо живешь, мать... — сказал Политкин.

— Да что вы, что вы, — закудаhtала Фурманиха, замахав своими крыльями, — вы скажете. Вот уж наговорите... То ж не мое, у кого из людей залежалось, ну попросят найти им покупателя, обменять на деньги, жить же надо! Вот и кручусь-верчусь!..

Может быть, Андрей просто не обратил бы внимания на этот золотой, не всполохился старуха так сильно.

— Ну а кто их покупает и зачем? — спросил Андрей.

— Господи, кто ехать в Польшу собрався! Переселенцы. Мало ли кто... То ж золото — везде деньги...

— И много их у вас? Золотых?

— Да шо ты, голубчик, больше нет, хоть обыщи! — Она отпрыгнула к дверям своей комнаты, выставив растопыренные пальцы. — Ну, пойдуча, а то мой Владек уже сидит, как сыч, голодный. Ну, вы варить мясо, варить...

Вот еще новость — старуха торгует золотом — может быть, и впрямь ничего особенного. Одним тут жить надо, другим — там, за рубежом. Похоже на правду. Хотя можно было съездить в Ровно и сдать в скупку. те же деньги, и никакого риска. Кто-то боится рисковать?

Андрей постучал и вошел к хозяевам. Старуха нарезала хлеб. Супруг понуро ждал, очищая лук. Край стола был покрыт газетой. У швейной машинки была свалена гора лоскутов.

— Вот что, мать, — сказал Андрей, — я не следователь...

— Боже упаси, ласковый мой!..

— Но вы подумайте. И если решите сказать, кто продает золото — мне это важно, — вечером зайдите, поговорим. Секрет сохраню в тайне. Обещаю. Думаю, вам это выгодней...

— Да шо ты, миленький...

— Я не шучу.

Уходя, заметил удивленный взгляд Владека, уставленный на жену.

— Мам, опять дуришь?

— Посоветуйтесь с мужем, — сказал Андрей, — и приходите. А то к вам придут.

Она кивнула, смигивая слезу.

...На полдороге к клубу его догнал Николай.

— Товарищ лейтенант, обещали...

— Что?

— Поговорить.

Андрей остановился, всматриваясь в чуть побледневшее, досиня выбритое красивое лицо Николая с темными подглазьями. Что-то переменялось в нем — беспокойный взгляд, чуть кривящиеся размякшие губы в морозных трещинках.

— У тебя что, это серьезно?

Он кивнул.

— И далеко зашло?

— Дальше некуда, — он попытался улыбнуться. — И матери написал.

— Быстро.

— Куда уж. С первого взгляда, как пулей навывает.

Да... Может, так оно и бывает, если по-настоящему. Ах, всяко бывает. Тысячи людей, тысячи характеров, обстоятельств —



черт ногу сломит. никаких мерок. Что ему сказать: отговорить, предупредить, научить? Что он сам-то, Андрей, понимал в этих сложностях? Кучу книг прочел. Но книга тут не помощник. Живой человек — сто раз нос расквасит и на сто первый туда же полезет...

— Ладно, можешь зайти, ненадолго только. И одного не пушу.

— Тогда уж лучше в субботу и подольше.

— А что в субботу?

— Да так, сабантуйчик.

— Не понимаю.

— Именины у ней. День рождения.

— Ну... до субботы помереть можно.

— Я так, на всякий случай.

— На всякий случай возьмешь с собой кого-нибудь.

Все-таки приятно делать доброе дело, знать, что от тебя зависит чья-то радость. Знать бы заранее, чем эти радости обернутся.

\* \* \*

Сам не понял, чего вдруг потянуло в клуб. Увидеть Стефу? Наверное, в эту минуту он был похож на Кольку. Ослеп, потерял соображение. Нет, пожалуй, он держал себя в руках, и сердце пока что ему подчинялось.

Спокойней, лейтенант, спокойней. Будь мудр. Дорога сама выведет...

Ни Стефы, ни Степана в клубе не оказалось. Зато у стен возилась целая бригада девчат — клеили обои, расставляли цветы на подоконнике. Среди женщин маячила понурая фигура предзавкома Копыто.

— Что ж он у тебя спит до десяти, Степа? — услышал Андрей его голос, обращенный к смуглой женщине в платке. Она обернулась, держа на отлете кисть с трафареткой, и он увидел миловидное, полное достоинства лицо, каштановый зачес с белой прядкой под сбившимся платком. Горпина! Та самая, что срезалась с предзавкомом на митинге.

— Вин мени не подчиняется. Клуб же поселковый.

— Ты у нас культторг, Гапа, должна контролировать, контакт держать. Хорошо, у меня вторые ключи были. — Тут он заметил Андрея и помахал рукой. — Вот, знакомься — лучшая наша работница-рисовальщица. Это у них в роду по традиции, я и сюда ее взял, пускай приберет по вкусу, отгул взяли девчата. А она за главную, Гапа.

— Ой, вы скажете.

Гапа улыбнулась, отчего смуглое лицо ее стало печальным.

— Да и торопимся зря. До выборов еще столько.

— А при чем тут выборы? Что? У нас красота для кампании? Клуб всегда должен быть праздничным. Верно я говорю, лейтенант?

Он подошел к Андрею и, поглядывая издалека на женщин, сказал негромко:

— Эта Гапа — талант великий. Погоди, выйдем на союзную арену, ее росписи по стеклу нарасхват пойдут. — И покачал головой: — Красивая когда-то была, сватался к ней.

Андрей удивленно покосился на этого, казалось, наглухо замкнутого человека. Солнце, что ли, ярко выливавшее в окна, праздничная эта уборка размягчили его.

— Да, да, а замуж вышла за дружка моего. Любовь, брат, такая штука — себя не обманешь. А вот дружка немцы расстреляли... Я как-то возьми и спроси ее — нелегкая дернула, мы ж, мужики, глупые бываем, как телки... «Как, — говорю, — Гапа, улеглась боль? Жаль, что мы не сошлись, не угадала». А она мне: «А я не жалею». Вот оно — бабье-то счастье, хоть короткое, да свое.

— Сколько ей?

— Сорока нету. Вообще, героическая женщина, — сказал Копыто, — и дружок мой — тоже был... — Заскорузлое лицо его смягчилось. — Петро... Начальником разведки был у нас в отряде. Вот его однажды обложили тут стервцы эти, оуновцы, вкупе с немцами, когда он на свиданку к ней залетел. Надо было связь наладить — от Митрича давно ни слуху, ни помощи... Кто ж знал, что тут полное село карателей. А они-то, оказывается, знали, какую птицу накрывают. Они много знали... Только вот наше местоположение неизвестно им было. Тактика была — рейдовали, отсюда до Станислава. И покоя им не давали...

— Почему героическая?

— Взяли его. А ей сказали: говори, откуда пришел, где база, живым останется. Не сказала... Перед окном повесили и неделю снимать не давали...

— Кто-то выдал его?

— В том-то и дело. Кроме Митрича, здесь никто не знал о его приходе. Не мог знать — так вернее...

— У Митрича семья, сын, — вырвалось у Андрея.

— Степка-то накануне и повез продукты в лагерь, не стал Митрич ждать, пока село освободится. Как уж он прошел через все заставы... Рисковый парень. — Копыто затоптал окурки в снег, крикнул сердито. — А предатель был, определенно. Иначе бы нас потом не раскокали. Едва половина ушла под Ровно. Рейд был в секрете, а вот...

— Не нашли?

— Кого? А, нет, не нашли... Не до поисков было тогда...

Андрей оглянулся на шаги и увидел Довбню.

— Вот, шел мимо, заглянул, весело тут у вас, с улицы слышать.

Копыто как-то весь подобрался, хмуро сказал:

— Вот бы вы, товарищ старшина, и поддержали тонус, как член поссовета. Сколько просим машину. Нет, вы свои дела наособь ставите, а общественные — третьим планом. Тут ваша сила кончается... А особмилцы потребуются — так сразу к нам.

Довбня, казалось, слегка даже растерялся, задвигал ноздрями:

— Что потребуется — будете выделять. А машину самим надо добиваться. Ездить и тормозить, а не бумаги слать. Дали ж вам одну, второй месяц ремонтируете.

— Да возьмите для поездок мою полуторку, — предложил Андрей предзавкому, стараясь погасить перепалку, и тут же подумал: «А как же Николай?» — И шофер мой все равно с бригадой поедет.

— Ну, спасибо, — мгновенно остыл Копыто. — Сейчас я найду

к вашим, передам команду... А то ведь на санях проваландают-ся. Ну, пока...

И, не глядя на Довбню, отошел к девочкам.

— Чего это он распетушился? — спросил Андрей старшину.

Довбня сдержанно выдохнул скопившуюся злость:

— Старое. Еще в отряде цапались. Я его на бюро песочил... Называется командир хозвзвода! Хозвзвод, брат, вторая разведка. Там «языка» берут, тут продукты, жизнь на волоске. А он только распоряжался. Петра на вылазку, сам у костра онучи разворачивал. Да знай жаловался — то ему мясо не везут, то муки. Как будто он торгом заведует и войны нет... А ну его, деятель!

Вернулся Копыто, и все втроем пошли к выходу.

В дверях они едва не столкнулись с запыхавшейся молодежицей. После быстрой ходьбы она тяжело дышала, раскрасневшаяся, яркоглазая. Андрей не сразу узнал ее — в фуфаячке, в старых сапогах, — разбитную, нарядную Настю. Лицом она была серьезная и слегка даже смущена.

— Что же вы, начальник, с отгула всех на клуб, а я случайно узнала, не звыстыли меня? Я ж тоже спиваю у хоре.

— У тебя ж дети.

— Суседка приглядит.

То, что Настя работала на заводе, было для Андрея новостью, думал, так — деревенская бабенка.

— Ну, я пиду подмогну, — она вконец смутилась и прошмыгнула в дверь.

— Вот так Настя, — сказал Копыто, — то ее на общественное дело калачами не заманишь, а тут — на тебе. Все бросила, прибежала.

Кажется, Андрей, догадывался о причине такой перемены, тянуло ее поближе к Николаю. Вот уже и сказывается «положительное влияние», вспомнил он слова Довбни.

\* \* \*

Минуло три дня без особых происшествий, если не считать коротенькой самовольной отлучки Николая — все по тому же адресу, и таинственно исчезнувшего попа. Андрей выслушал Довбню по возможности серьезно, хотя и был удивлен его возбужденным видом. Ну пропал и пропал. Повертелся по деревням и был таков.

— Не было его в деревнях, мои люди засекли бы. У меня информация на высоте.

— Ну не было и не было, значит, сразу уехал.

Довбня с сожалением взглянул на лейтенанта. Андрей старался понять причину его беспокойства, но расспрашивать не стал.

Честно говоря, не до того было. Он был полон Стефкой, все эти дни не переставал думать о ней. Старался представить ее лицо в конопущах, этот милый смешной жест — лихую отмашку, ясные, с пугливым любопытством глаза.

А Стефка в последующие дни, как нарочно, не показывалась. «Ну и черт с тобой, — в сердцах ругался он, — так проживем, без ваших карих глаз. Жили почти четверть века, не померли».

Чувство под конец словно бы притупилось, и он даже обрадовался, прислушиваясь к самому себе, внутри лишь чуть-чуть поднывало...

Он увидел ее утром возле одиноко торчавшего на отшибе кирпичного зданьяца с почтовым ящиком на облупленной стене. Стефка сошла с крыльца, сосредоточенно считая ступеньки, и уже внизу, оглянувшись, спросила как ни в чем не бывало:

— Пойдешь зо мной?

— Конечно!

Она протянула ему почтовую сумку:

— Возьми.

И пока они шли, вначале по дороге, а затем лесной тропой — она пропустила его вперед, сказав «не надо меня оглядывать», — Стефка рассказывала о старике почтальоне, «який он смешной», у него пять внуков, и, когда деда одолевает подагра, ходит он не может, зато бодро ползает по хате на четвереньках, оседланный детворой. А фуражка — назад кокардой.

— Очень смешно, — сказал Андрей.

Она промолчала, затем на мгновенье обернулась, и Андрею показалось, что в глазах у нее блеснули слезы.

Он удержал ее, спросил строго:

— Что с тобой?

— Три дня тебя не было, не зашов. Так можно?

«Судьба, — подумал он, — вот как люди находят друг дружку. Или не находят совсем».

— А ты?

— Я женщина!

Пошел снег. Андрей поднял голову к серому небу, ощутив на губах тающий холодок.

— Анджей, больше так не делай.

Он кивнул. Все еще не верилось — за что ему такое счастье?

— Постараюсь.

— Ага, старайся. Мне с тобой спокойно. Як з отцом.

Он все еще не решался открыться. Что значит «спокойно, как с отцом»? Может быть, ей просто нужен друг, и он окажется смешон со своим признанием.

— Ты постой тут, — сказала она, опустив глаза, — люди нас увидят вместе, такого наговорят.

Он бродил меж огромных сосен с пригнутыми от снега ветвями и ждал, что вот-вот она покажется из гушины леса, и он скажет ей... Отважится и скажет...

Стефка возникла внезапно, будто выпала вместе со снегом, плавно опустившись у разлапой ели.

— Я лесная королева, — засмеялась она, — здравствуй!

Он сел в сугроб и ждал, когда она подплывет, легкая снегурочка в красной шапочке с помпоном.

— Хочешь, я для тебя заспеваю? По-русску, сами в клубе переводили.

Она ловко вспрыгнула на черневший из-под снега пенек и, приподняв за кончики полы шубки, смешно, по-игрушечьи покачивая головой, запела о том, как мальчишка и девчонка искали по свету счастье. Никогда его не видывали, не знали, какое оно.

Андрей взял ее за руку и поцеловал в ладонь.

— Стеф, — рассмеялся он счастливо, — сейчас я напророчу

своей королеве: она выйдет замуж и станет ужасно ревнивой женой.

— За кого — замуж?

— Тебе видней.

— Я-то знаю, — сказала она задумчиво, — за кого хотела бы.

— Но ведь ты уезжаешь?

— Не вем.

Она все еще смотрела на него долгим, невыносимо пристальным взглядом, внезапно тряхнула головой и затопала по тропке.

— Пошли, Анджей.

— Стеф, ты останешься со мной? Правда?

Она кивнула, не оборачиваясь. Догнав ее, Андрей прикоснулся к холодной щеке и, не отпуская, сказал:

— Все будет хорошо, Стеф?

— Пойдем Анджей, — произнесла она устало. — Еще ниц неизвестно. Сегодня день щенсливый, будем радоваться. Добже?

Утром, во время завтрака, в дверь просунулся стоявший на посту Николай и тихо сказал:

— Полундра, начальство...

Андрей заспешил навстречу.

Возле залепленного снегом, урчавшего «виллиса» попрыгивала, разминаясь крупная дивчина в шинели, с санитарной сумкой через плечо. Подполковник Сердечкин, заглядывая в кузов, кому-то говорил:

— Шофер вас повезет по гарнизонам, на обратном пути за мной. А Любовь Дмитриевна останется, здесь проверит. — И махнул шоферу: — Езжай.

Взяв под козырек, Андрей стал было докладывать, но подполковник, не дослушав, сказал:

— Вот член санкомиссии. Из окружного госпиталя, медсестра. Поглядит, как вы тут бытуете. А я пока схожу к участковому, потом поговорим.

Андрей провел ее в помещение, где на нарах уже чинно сидели солдаты, с любопытством взирая на гостью. Политкин, пытаясь завязать разговор, кинул было реплику: «И зачем таких красивых присылают?», но Люба, будто и не расслышав, командовала:

— А ну-ка, марш с нар!

Заглянула под настил, сделав большие глаза, откинула одеяла на сениках, охнула.

— Вы что же, в сапогах спите? Это простыни? Стыдно, сержант, позор, — накинулась она на Юру. — В бане когда были? Белье в стирку сдаете или ждете смену из полка? Дезинфекция как?

Юра виновато смотрел на нее снизу вверх, едва успевая отвечать. Ответы были неутешительны. Баня в поселке заработала день назад, до этого мылись с горем пополам над хозяйским тазом. А те, кто сменялся с поста, получали два часа отдыха, порой укладывались прямо в одежде.

— Ужас, ужас, — приговаривала Любовь Дмитриевна, рыская

по углам, пробуя пальцем то стену, то клеенку: — Вы хоть себя-то уважайте! А еще молодые люди. Обо всем доложу в штабе! И с подполковника вашего спросят где надо. Снимут с вас стружечку, победители! Охламоны, вот вы кто... Как же вы в окопах жили?

Она была так рассержена, что ребята даже не обиделись. Хотя и то верно: в окопах умудрялись баниться, а тут мирное время, поселок все же...

— Ну-ка встать всем, рубахи поднимите...

— На форму двадцать, что ли? — спросил коротышка Бабенко.

Люба взглянула на него как жирафа на жучка.

— А что, есть? Водятся?

— Пока не замечаю, — ответил Политкин, — но теоретически не исключается.

— Заметьте, если так будет продолжаться, теоретики... Сержант! — обратилась она к Юре. — Запиши себе, как приказ: в баню еженедельно, со стиркой. Сами стирайте, солдаты же, не мальчишки.

Она слегка отдышалась, присев за стол: видно, и впрямь была взволнована непорядками. Политкин вежливо нацедил ей черного чаю из постоянно свистевшего на плите чайника, положил хлеб и пару кусков сахара.

— Согрейтесь с дороги, сил прибавится.

— Это верно, — подтвердил Мурзаев, видя, что Люба хмурится, — чай не пьешь, откуда сила будет?

Уж очень всем хотелось попотчевать ее скудным своим припасом. Но Люба только головой покачала. Потом, нахмурясь, взяла с тумбочки книжку, длинные брови ее удивленно вскинулись, лицо на мгновение просветлело:

— Батюшки! «Из пушки на Луну»!

— Интересная книга, — сказал Бабенко. — Читали?

— В детстве, — улынулась она, машинально отхлебнув чай. — Чья?

— Помкомвзвода.

— Читать любишь? — спросила она Юру, внимательно взглядевшись в него. — Давно служишь? Образование? Планы какие?

— Не знаю... — замялся сержант.

— Что значит, не знаю? — спросила она под хихиканье солдат. — Демобилизуешься, что делать будешь? Думать надо.

— Он летчиком мечтал, — сказал Николай, подправляя недавно отпущенные усики.

— А теперь журналистом, — усмехнулся Политкин, — будет летать мысленно.

Люба смешно, по-птичьи склонила голову — к одному плечу, к другому.

— Писать — талант нужен. Есть он или нет, еще неизвестно. А дело надо в руках иметь. С делом и писать легче, если уж потянет, не так?

— Должно быть...

— Вот ты слушай, что я тебе скажу, — вдруг загораясь, заговорила Люба, даже про чай забыла. — Я тоже медичка по случайности. Жить надо было, пошла в госпиталь. А учусь на заочном электротехническом. Давай, поступай. Время эконо-

мишь, пока служба идет. Я поговорю, учебники пришлю, сдашь! Ей-богу, ты же умный, по глазам вижу...

— Юр, — сказал Политкин, — я б на твоём месте землю грыз, ежели б меня так просили.

Юрка стоял красный, как пион, и не знал, куда девать руки. Люба вдруг сдвинула брови и расхохоталась.

— Так согласен, Юра?

— Да, если все это не пустая болтовня.

— Вот, клянусь, честное пионерское, — отсалютовала Люба. — Я беру над тобой шефство, а ты мне порядок наведешь, я еще к вам как-нибудь наведаюсь. Есть контакт?

— Есть.

— Так-то, летчик-писатель.

Казалось, она сама смущена своей бойкостью, уткнулась в кружку и долго не отрывалась от нее, потягивая мелкими глоточками остывший чай.

— О сансостоянии подполковнику все-таки сообщу, пусть он вас взгреет. А сейчас надо в поссовет насчет банного дня для вас... Проводишь, сержант? — Она потрепала Юру по плечу и вышла первой.

— Так решается судьба мужчины, — сказал Политкин.

Бабенко уточнил:

— Она его з рук не выпустит, поверьте, есть опыт...

Андрей угощал подполковника традиционной закуской: капустой и салом, которое прислала Николаю мать в посылке вместе с флягой первача, хранившегося до праздника — выборов.

— Ну а как твои сердечные дела? — прищурился подполковник. Андрей даже растерялся, глупо уставясь на его обветренное, кирпичного цвета лицо. — Ну, ну, не скрывай, в поселке, брат, все на ладони, поговорил с девкой — уже заметили.

— Информация этого всезнайки Довбни? Чепуха.

В эту минуту он был искренне возмущен, потому что и в самом деле разговоры не имели никакой почвы.

— Да и по тебе видно, — подначил Сердечкин, налегая на капусту, — с лица слинял, взгляд беспокойный... А вообще, я видел ее, приходила к участковому насчет каких-то документов.

Даже сердце сжалось: документы! Должно быть, это связано с ее отъездом. Вот тебе и чепуха... Зашемило и прошло потихоньку, осталась тягостная пустота.

— Разные люди, — пробормотал он. — Да и возраст... Уезжают они в Польшу.

— А ты встань поперек дороги! За любовь воевать надо.

— Хватит, навоевался.

Не хотелось ворошить душу, и Сердечкин, кажется, понял.

— Ну ладно, — сказал, отодвигая тарелку. — Люба, наверное, уже ждет. С Довбней договорились — он тебе добровольцами поможет на время выборов. На всякий случай с утра прочешите лес. Да загляните к людям, не помешает лишний раз побеседовать, объясните важность этого дела. Хотя, думаю, народ и так понимает. В иных местах потрудней — бандюг бояться. Терроризируют деревню.

Некоторое время подполковник молчал, сминая в руках шапку. На лбу собрались морщины.

— Да, — сказал он, точно размышляя вслух, — само это изу-

верское слово «национализм» не могу принять, с души воротит. Может быть, если глядеть в истоки, родилось это как форма протеста против рабства, бесправия. Самовыражение! — Он поднял глаза, знакомо потерев переносье, как всегда, когда стеснялся прописей, которые постигал сам, собственным сердцем. — А потом это выродилось в борьбу честолюбий, извращено войной, а самое ужасное — многие простые люди просто стали жертвой обмана, проданы этими вожаками, холуями фашистскими. Методы их выдают шантаж, убийства!

Он поднялся, надевая шинель.

— Постарайся, чтобы все было на уровне. Самодеятельности, слышал, помогаешь, это хорошо. Выборы должны пройти нормально, как-никак свою власть выбирают... Ну бывай, желаю успеха.

\* \* \*

Ничто не предвешало беды в этот солнечный, неожиданно теплый день.

С утра мимо окон потянулась бесконечная вереница машин и орудий: воинская часть возвращалась из-за границы на расформировку. Об этом стало известно от Политкина, бегавшего разжиться сигаретами за километр, к лесу, где стала на ремонт автоколонна. Потом какой-то заезжий шофер передал Юрке учебники от Любы, и помкомвзвода зарылся в них до обеда. В полдень за ним зашла месткомовка тетка Гапа, и он вместе с ней и заводскими агитаторами отправился на хутор по хатам... Потом явился Николай, чисто выбритый, в отглаженных галифе и почищенной кожанке, и попросился на именины к Насте...

— Так мы с Бабенкой, товарищ лейтенант, как обещали...

Уже в сумерках, когда Андрей, проверив пост, прилег на койку, не раздеваясь, кто-то робко заскребся в дверь, затукал щеколдой.

Это была Фурманиха. Всего лишь... Она пристроилась за столом и с ходу, горячо, заученно-умоляющей скороговоркой стала объяснять ему, что дело с этим проклятым золотом не стоит гроша ломаного, а если раздуть такой пустяк, то ей не поздоровится, потому что «закон как жернов — замелет», а она, бог свидетель, больше пальцем в такой коммерции «не дотрогнется», и если у лейтенанта доброе сердце, то он простит ее и не станет «кидать спички в карасин», а лучше она отдаст ему тот проклятый золотой, может, когда пригодится зуб вставить. И она даже рассмеялась блаженно, представив, как оно будет красиво — молодому человеку с золотым зубом.

И эта ее взвинченность, перепады от отчаяния к веселью лишь насторожили Андрея. С кем-то она связана. С кем?

— Вы что, с ним виделись? Он вам пригрозил?

— Кто? Бог с вами, ангел мой небесный! — И она прижала ладонь к глазам, коротко всхлипнув.

«Ну и артистка!»

— Спокойно, пани, — сказал он участливо, — вы мне верите?

— Как Езусу Христу! — выкрикнула старуха. — Даже боль-



ше. Вы самый порядочный человек на свете, ослепни мои глаза. И самый красивый...

— Ну при чем тут...

— При том! При том, что у вас глаза хорошие, а я повидала на своем веку дай бог, чтобы ошибиться в таких глазах!

— Тогда скажите честно, откуда у вас золото?

— Это золото? — воскликнула старуха, завертев головой и кидая отчаянные взгляды во все стороны, точно призывая в свидетели стены хибары. — Это золото? Шоб моим врагам столько золота на всю жизнь! Это крохи от довоенной жизни. Мы с Владеком экономим на всем, вы же видите, что мы едим. Овсянка и хлеб. И может, и к лучшему, потому что у него печень... Только бы скопить, потому что корова — это все. Это молоко, и простокваша, и сыр, и яйца...

— Какие еще яйца?

— Продашь сметану — купишь яйца.

Старуха смотрела невинно, точно глухая. Андрея уже проби-вала испарина.

— Вот что, или вы скажете, или...

— Нет! — Она простерла к нему костлявую руку. — То есть да, скажу. Что такое этот золотой, это тыфу, а человека заляпа-ют, не отмоешься... Все ж мы грешные. А я, может, человеку жизнью обязана, спас меня, а теперь по мелочи я мараť его буду.

— Кто он? Ну?

Она молчала, покачивая головой, страдальчески прикусив тон-кую старческую губу.

— Ну, расскажите хоть об этой истории с вашим спасением, — слукавил он, надеясь хоть стороной что-нибудь узнать. В конце концов — если для нее важно успокоить совесть, для него — ухватиться за призрачную, возможно, никуда не ведущую ниточ-ку. — А я даю вам слово. Все останется между нами, хотя тут-то, надеюсь, тайны нет: ну спасли вам жизнь, и слава богу.

Некоторое время она молчала, собираясь с духом.

— То было в начале войны... Я сказала Владеку: «Собирай ма-натки, поедem куда ни то помирать». А он спрашивает: «Зачем же ехать, помрем на месте. Да и не тронут тебя, ты ж хреще-ная». А я, надо вам сказать, хрестилась ради него, от людской хулы его поберегла, а мне уж бог простит. Очень я любила Владека. Ну и говорю — береженного бог бережет, пойдем на восток. А он говорит: «Там уж немцы, шо мы будем их до-гонять?»

Андрей терял терпение, но старался не выдать себя ни единым жестом, знал — в таких случаях лучше не перебивать.

— А я ему говорю: «А вдруг проскочим? Нет же целого фрон-та, пойдем и пойдем, а там видно будет. Собирайся. А то я са-ма пойду. А ты без меня пропадешь». Он же даром что боль-шой, а душой ребенок. Мамкой меня зовет.

Андрею вдруг показалось, будто за окном скрипнуло — будто кто мимо скользнул. Он тихонько встал и, распахнув дверь, с минуту вглядывался в темень. Вдали у машины маячил часовой.

— Я вас слушаю, слушаю...

Она рассказывала все тем же монотонно урчащим, точно вода в трубе, голосом:

— Мне лес як дом родной, я сирота, у Владека отца, лесника, прислужой была, у будущего свекра, значит, земля ему пухом... Ну вот, запаслись мы с Владеком травами, грибами, кое-чего перепало от немецкого обоза, партизаны его на опушке порушили, то зайцы в силки попадались. А все одно заболела я к осени, лихоманка затрясла. Я говорю ему: «Ступай домой, я тут останусь, зачем двоим пропадать?»

Первый раз он меня в жизни ударил. Отшлепал по щекам. «Ты, — говорит, — за кем жила, за подлецом жила?»

Зимой нам и вовсе погано стало, варили крушину, заячью траву с мукой подмешивали, а потом просто так. Я на диво очуняла, а Владек слег и уже не подымался. Он же здоровый, что ему трава? Вот тогда и заглянул к нам тот человек, в ко-жухе, при автомате.

— Партизан?

— ...Заглянул, — повторила старуха, укоризненно прикрыв глаза, и на миг стала похожа на спящую курицу. Андрею даже показалось, что ей плохо стало, но веки снова поднялись, сморщенное лицо будто постарело. — Постоял, посмотрел... видно, знал этот схрон. Так чудно посмотрел, с усмешкой, а губы сжаты, у меня сердце упало... А он говорит: «Это, пани, партизанская явка, для особых заданий, и никто об ей не должен про-зывать... Наткнутся немцы на вас, а вы меня видели. Сама понимаешь, война, суровые ее законы...» И рука вроде бы автомат колыхнула, сжалась. Бухнулась я ему в ноги: «Родненький, дай спокойно умереть». Молю его, а Владек мой в горячке бредит... Я ведь его маленьким знала, петушками даровала...

— Владека?

Она будто споткнулась на слове — проговорилась, глаза у нее стали круглыми, но Андрей сделал вид, что не заметил, лишь спросил, что такое петушки...

— То леденцы, конфеты, я сама варила... Ага! Ну и уговарила, понимаете, уговорила парня! Улыбнулся, оттаял. «А может, — говорит, — и к лучшему, что вы здесь». Сказал, как вслух подумал. И еще оставил нам консервов, хватило их, пяти банок сала, до самой весны... Сказал, когда уходил: «Ладно, я вас сейчас выручу, мало ли что, гора с горой не сходится... Но гляди, убивать будут — обо мне ни слова. Кому скажешь — узнаю...» Так никому и не сказала.

— И мужу?

— И ему... — Она снисходительно покивала. — С этим не шуткуют. Только как-то вернулись мы с грибного места, а в углу дерн снят и пустая яма. Владек заполошился, что, в чем дело? Зашепку в руках вертит... Ну, такую, вроде от сундука, видно, оторвалась. А я его успокоила: «Может, — говорю, — тайник чей-то, и хорошо, что нас не было». А сама думаю — надо тикать с этого места. Пока лето — найдем себе другое... Так и ушли.

— Ну, что ж, видно, благородный малый, этот человек, — сказал Андрей. — Кто же он?

— Шо? А... да, да... Нет! Вы же дали слово!

— Чего ж вы сейчас-то боитесь? — Старуха молчала, опустив голову. — А если это худой человек, если не свой? Вraga? И он

среди нас, чем это может кончиться для многих? Что он замыслил с продажей золота, неизвестно. Подумайте об этом.

Она затрясла головой, не сводя с Андрея расширенных глаз, и снова заплакала, уткнув лицо в ладони.

И сколько он ее ни уговаривал, как ни доказывал, молчала. Он понял, что сейчас ничего не добьется. Впервые в жизни он встретил человека, которым владел беспросветный страх, здесь таилась иная, незнакомая ему жизнь, иные законы, отношения.

— Вы сказали ему, что я знаю о золоте?

— Да...

— И что придете ко мне?

— Нет, нет... — И, словно вспомнив о чем-то, вздрогнула, заторопилась. — Я побегу, надо мне, а то опоздаю...

— Подумайте о моих словах. Завтра загляну к вам. И ничего не бойтесь. Здесь сейчас наши, Советская власть, мы вас в обиду не дадим...

Оставшись один, он постоял, размышляя обо всем услышанном. Затем вышел на крыльцо. Фурманихи уже не было видно. Лишь удаляющийся скрип шагов обозначил кого-то в ночи... Потом все стихло. Вдруг почудилось, будто справа, у сараев, мелькнула тень, донесся шорох и словно бы легкий вздох. Видно, в стайке завозилась корова.

— Кто на посту?

— Лахно, — раздалось с другой стороны, от машины.

— Как дела?

— Все тихо. Полчаса осталось. Морозина прямо сибирская. Жмет.

Андрей невольно улыбнулся, все еще ощущая смутную тревогу.

— Откуда знаешь, что полчаса?

— Да как хожу вдоль барачков — один конец пять минут. Двадцать концов сделал.

— Подойди-ка.

— Есть...

Грузная фигура Лахно выросла у крыльца.

— Старуха домой прошла? Фурманиха?

— Не видел...

— А к хутору, по тропке никто не спускался?.. — Ему пришла мысль, что неплохо бы проследить за хозяйкой, куда это она торопилась. В том, что человек, о котором шла речь, живет где-то здесь, — сомнений не было.

— Оттуда будто кто проскочил, на завод, видать. С полчаса назад.

— Женщина?

— Вроде мужик...

И снова из тьмы донесся не то стон, не то вздох.

— Давай-ка пройдишь вдоль сараев, только быстро. А я с этого краю...

Он заспешил вдоль порядка и замер, услышав резкий возглас Лахно.

— Лейтенант!

Еще не осознав, в чем дело, но уже предчувствуя беду, кинулся на зов.

...Старуха лежала на снегу, скорчившись, точно прилегла на миг прикорнуть, лишь черневшая на снегу рука ее была неестественно откинута.

Он осторожно поднял ее, не чувствуя тяжести, она была легонькой, как обмолоченный снопик. И почему-то представил лицо Владека, который через минуту увидит свою бездыханную «мамку».

— Поднять всех по тревоге! Проверить ближайшие дома, сам давай по тропе, в лощину. Увидишь кого — засеки. Далеко не ушел, не может быть!

\* \* \*

Проверка ничего не дала. В сараках уже все спали, и было непохоже, чтобы кто-то выходил. Обшарили каждый закуток, Лахно вернулся ни с чем. Рыскать по хутору было бесполезно. Андрей уже жалел, что не ко времени отпустил Николая с Бабенко на «именины» и приказал помкомвзвода — если к двенадцати не вернуться — послать за ними...

Час ушел на осмотр места происшествия. Довбня, изредка задавая вопросы, посвечивал фонариком, что-то записывал в блокнот, потом один вошел в комнату хозяев, куда Владек, не проронив ни слова, отнес безжизненное тело жены. Пробыл там недолго, появившись в дверях, кивнул Андрею, и они пошли в отделение.

В кабинете, включив свет, Довбня зашторил окна, тяжело опустился в кресло, предварительно отставив его подальше, в угол.

— Кто ж он, этот «партизан», внешние приметы хоть обозначили?

— Не хотел форсировать. Бесполезно было. Да и кто знал — не навсегда прощались.

— А вышло — навсегда. — Старшина исподлобья взглянул на Андрея. — Ну да что от тебя требовать, не специалист... И про золото вовремя не сказал — это главное упущение, а нам теперь искать преступника.

Его назидательность разозлила Андрея. Какого черта! Вместо того, чтобы идти по горячему следу, мораль читает.

— Он явно шел к ней за деньгами, даром старуха торопилась, денег-то при ней оказалось немало.

— То-то и оно, — сказал Довбня.

— Домой не пошел, не дурак, место встречи было назначено у сарая. Явился, увидел свет в моем окне и силуэт старухи, тут ошибиться трудно. И все понял... Только забыл оставить письменное объяснение для милиции, — добавил Андрей с невольной усмешкой, глядя в огузшее, с оттенком значительности лицо Довбни.

— Деньги-то целы!.. — перебил старшина.

— Ну еще бы! Он должен был взять их. А то вдруг не догадуются о мотивах...

— Ты-то догадался... Да и он уж понял, что наследил. Это не исключено.

— В таком случае он должен бежать. Кто завтра исчезнет из поселка или хутора... Логика?

Андрей почувствовал на себе снисходительный взгляд Довб-

ни, казалось, вся эта азбука старшине давно известна, но он слушает, давая гостю выговориться, в надежде выловить из его бормотания что-то важное для себя.

— А бывает и против всякой логики. Возьмет и останется. Если даже она сболтнула о нем — свидетелей нет. Ты один, докажи...

— Особенно, если у него здесь прочное положение.

— Имеешь кого-то в виду?

— Нет!

— Не Степана ли? Значит, еще и соперник. Это бы ему на руку.

— Не болтай чепухи. Я о нем и не думал...

Довбня вздрогнул, привычно наливаясь.

— Это не чепуха. Между прочим, о чем там у вас со Степой разговорчик закрутился, в тот вечер, после листовки?

— Сержантская информация?

— С твоего разрешения. Советовался.

— Вот Степу и расспроси.

— Само собой... Н-да, благородный ты человек, что и говорить. С таким благородством когда-нибудь вляпаешься, мамы родной не дозовешься.

— Я и сейчас не дозовусь.

Взгляды их встретились, Довбня хмыкнул и отвел глаза.

— Не нравится мне наша беседа, кончим.

— Что ж именно не нравится? — Довбня деланно рассмеялся. — Говорим начистоту.

— Не говорим — воду мутим. Вообще не люблю, когда в душу лезут. Каждый вправе судить о времени, в котором живет. — Вдруг подумал, что артачится совсем как Степан тогда, вечером и от этого дотошный Довбня, с его доброжелательством, стал и вовсе противен. И он добавил со злым упрямством: — А что касается Степана... Зачем ему советские деньги, если он собрался на ней жениться, а стало быть, уезжать?

— Что-то не слышал об этом. Документов не подавал. Взяла справки Стефа на себя, на мать, на брата...

— Он умер.

— Но жил же, работал учителем, может, старухе для пенсии. С минуту Довбня смотрел, сощураясь, будто вглядывался в дальнюю даль. Вдруг сказал, переменившись в лице:

— Неужели все-таки он?

Андрей понял, кого имеет в виду старшина, а не верилось.

— По-твоему, вражина всегда скрытный?.. А ведь больше некому. Я тут всех знаю.

— Факты?

— Ей-богу, некому, — не отвечая на вопрос, повторил старшина, — всех перебрал. Листовочки не откуда-нибудь, здесь писались. Уверен.

Довбня был взбудоражен, лицо его горело. Неожиданно, словно их могли услышать, прошептал, припав к столу:

— И тогда, когда базу выдали... Никто, кроме него, не знал места, никто... Не Митрич же, черт побери! Скорей себя заподозрю!

Он убрал со стола кулаки — будто обжегся, строго глянул на Андрея.

— Доказательств нету, а мы их поищем... Поищем! Зараз искать полегче, архивчики есть. Покопаться в них — где-то ниточка торчит.

Казалось, он забыл об Андрее, раздумывал вслух, все больше утверждаясь в собственной правоте и страшась поверить в нее.

— Факты, факты... Соображения! Раньше я их и в голову не брал, а теперь сами лезут.

Он нерешительно потянулся к телефону и попросил квартиру предпоссовета. Чувствовалось, что делает это против собственной воли, стараясь выполнить формальность. И снова, как в прошлый раз, мембрана зазвучала голосом жены, на сей раз вполне спокойным, может быть, потому, что и сам Довбня был наигранно весел, начав с «доброго вечера», спрашивал о том, о сем да как поживает Митрич, чем там кончилось в районе с самоотводом.

— Ты уж извиняй, Марина, мотался эти дни по селам, не мог позвонить, а душа не на месте... Видно, разбудил вас?

— Та не. Он со свиньей возится, чегой-то прихворнула, одно наказание.

— Вот тебе на, а Степан не мог, сыночек-то? Бережешь его.

— Нема его, на именинах у Насти.

— А, ну да... И давно ушел?

— Та вже давно.

— Ну ладно, привет передавай, завтра сам загляну.

Довбня помолчал, сказал, не поднимая глаз:

— С пьяным балакать бесполезно. Да и спугнуть можно. А мы уже завтра с утра потихонечку. Настю я сам расспрошу.

— О чем? — усмехнулся Андрей. — Не отлучались ли гости, кто, когда, насколько?..

— И это важно.

— В поселке еще тыща домов.

— Ты уж меня не учи. Сам ученый...

\* \* \*

Андрей проснулся как от толчка. Опершись о локоть, привстал, вглядываясь в округлые, точно с перепугу глаза Бабенко.

— Беда, лейтенант...

— В чем дело?

— Погорели с этой свиньей.

— С какой свиньей?!

— С той, что вчера рубали.

Еще не понимая толком, в чем дело, он смутно припомнил вчерашний поздний ужин в кругу солдат. Полную сковороду поджарки, которую принял, как дар именинницы Колькиным друзьям; хмельные рыдания осиротевшего Владека и утешительные, со злым туманцем реплики Николая о бандеровском охвостье, крепких, сохранивших при немцах хозяйство мужичках, которых давно надо бы раскулачить: «Мы их еще потрогаем. Реквизнем...»

...А Бабенко уже объяснил. Из его путаной речи постепенно вырисовывалась картина, вызвавшая нервную дрожь.

На рассвете стеклодув Ляшко, разбудив ребят, сообщил, что

возле машины вертится какая-то женщина в кожанке. Вышел до ветру — в сумерках не разглядел, — сразу шастнул из двери в дверь, предупредить. Николай сразу понял, что к чему, — хозяйка свиньи! Выскочил, захватив куртку, завел мотор — хорошо еще, была вода в ведре — и наутек да при повороте зацепил ящиком за штатетник, ящик треснул, свиная голова и голяшки — на снег. Женщина — в крик...

На ходу застегивая шинель, Андрей обронил уже одетому помкомвзвода:

— Возьми кого-нибудь с собой. Или сам. Лучше один. Ступай по дороге. Если он приткнулся где-нибудь поблизости, пусть немедленно гонит на базу в полк, станет на прикол и без вызова никуда ни шагу...

Все это он сообразил мгновенно, не задумываясь. Мельком заметил не то нерешительность, но то укор в глазах сержанта Юры, но рассуждать было недосуг. Потом... Все боялся, что чего-то не учтет, упустит. Так, в каком-то жарком оцепенении, с грозным ощущением надвинувшейся беды, необратимости случившегося, выскочил во двор, на схваченный морозцем, едко захрустевший под сапогами ледок.

— Товарищ лейтенант, — толкнулся в уши запыхавшийся голос Бабенко, он оглянулся — курносое лицо ефрейтора таило испуг. — Насчет версии...

— Какой еще версии?

— Николай велел передать: что за машина была — не знаем, наша еще с вечера ушла за продуктами на базу.

— С вечера? С пьяным шофером?

— А шо больше придумаешь... Парубки эти нас спанталычили.

— Какие еще парубки?!

Только теперь Андрей со всей остротой почувствовал и свою вину и ответственность, надо было во что бы то ни стало выпутываться — отвести нависшую над взводом беду... «Спанталычили парубки?.. Может, провокация, с умыслом? Кто будет разбираться в тонкостях?..» Не чувствуя под собой ног, зашагал вдоль барачков — вначале быстро, потом медленней — к темневшей невдалеке группе солдат, среди которых маячила крупная фигура Довбни и женщины в белом кожанке. Он сразу узнал ее — Гапа, Горпина!

На дворе совсем рассвело. Пушил снежок, над домами прозрачно курились трубы, но людей пока не было видно, и он прибавил шагу. Не хватало еще свидетелей... Хотя через час-другой о происшествии станет известно всем.

— Здравия желаю, — потупясь, ответил на приветствие Довбня.

И в том, как Довбня скользнул по нему взглядом, в неприличном холодке, затаившемся в этом вежливо оброненном приветствии, чувствовалось явное отчуждение. С упавшим сердцем ощутил Андрей как бы пролегшую между ними черту закона.

— Вам-то, лейтенант, не известно, случаем, чья все же была машина? — спросил Довбня, глядяваясь в заметаемые порошей следы протекторов. Возможно, ему неловко было вот так официально, по долгу службы, задавать вопросы человеку, которого он не хотел подозревать в случившемся.

Казалось, самым вопросом он подсказывает ответ.

И Андрей, оправясь слегка, довольно бодро заявил:

— Не знаю, их тут много ездит. Сами видели — перемещаются части.

— Бывает, иной заночует, — вставил Бабенко.

Кажется, старшина был не так уж добр, как показалось Андрею.

— Кто-нибудь ночевал у нас? — спросил он Бабенко.

— Шо вы, товарищ лейтенант, — тотчас нашелся ефрейтор, шмыгнув носом, — вы ж сами запретили, воинский гарнизон. Разве можно нарушать порядок? Видать, в машине и дрыхнул.

Довбня даже рот раскрыл.

— Ко мне заходили какие-то, один в куфайке с погонами, — вдруг вставил Ляшко, все это время сочувственно поглядывавший в сторону Андрея. — Брал воду для авто.

— Как выглядел?

— Темно было Солдат и солдат. Я говорю, бери там на припечке ведро. Он узяв, потом сколько-то времени погода поставил. А потом я по нужде вышел, ну и... Гапу углядел.

Андрей испытывал смешанное чувство стыда и благодарности.

— Углядел, значит, — сказал Довбня. — А она тушку углядела.

— Какая там тушка, одни ножки...

— Вот именно. За ночь он ее прикончил, солдат?

— Возможно, они прикончили ее еще вечером в другом месте, — заметил Андрей. — А может, не ее скотина.

— Моя! — тихо молвила Горпина. Взгляды их встретились.

Мучительно сломанная бровь, прикушенная губа, Андрей отвернулся.

— Ладно, Горпина, — оборвал ее Довбня. — Твои несчастья известные. — И, весь подобравшись, процедил: — Но закон есть закон, товарищ лейтенант, отыщем вора.

\* \* \*

Шли молча, метель затихла, выглянуло солнышко. Андрей до рези в глазах всматривался в уходящую вдаль шеренгу машин при дороге боясь наткнуться на свою, ее можно было узнать сразу по обшарпанному кузову. Полуторки эти, прошедшие войну, доживали последние дни.

Довбня начал с крайней, новенькой трехтонки, очевидно, не знал в лицо Николая, показав копавшемуся в моторе водителю документ. И чем сдержанней был Довбня, тем разговорчивей становился Андрей. То останавливал первых встречных солдат и начинал расспрашивать о прибывших ночью машинах, то советовал идти вглубь от дороги, где на просеках тоже виднелись машины. Его прямо несло словами. И так продолжалось до тех пор, пока не укололся о прищуренный взгляд Довбни.

— Я вам непременно нужен? — спросил Андрей. — У меня дела.

— Да нет, ступайте по своим делам.

Но Андрей, точно замороженный, продолжал идти рядом, лишь поймал скользнувшую по красному лицу Довбни усмешку. Но ему уже было наплевать: судьба индейка, куда вывезет. За-



курил, не глядя, протянул пачку сигарет милиционеру — почувствовал, что тот не собирается брать, и небрежно сунул обратно в карман.

— Побрезговал...

— Да нет... просто, знаете, привык во всем обходиться своим. По мере, так сказать, возможности. — И уточнил со смешком, — берегу достоинство...

Бог ты мой, какая щепетильность.

— В таких мелочах?..

— Это как сказать...

Андрей был задет за живое. В спокойном, чуть смущенном облике Довбни не ощущалось подвоха. Старшина вдруг заговорил, словно бы оправдываясь:

— Это, знаете, самое ценное — быть верным себе. Жизнь — штука сложная, и всякого в ей еще хватает... И колдобин и ухабов, а ты знай иди, не срывайся, не теряй курса. — Что-то удивительно знакомое прозвучало в его словах, в самом тоне — раздумчивом и вместе с тем жестоком. Ну да, отец говорил то же самое. Очевидно, и Довбня подыгожил что-то свое, пережитое, не совсем связано окольно... Замолк, не спеша чиркнув кресалом, закурил. — Обстоятельства, конечно, много значат. Как же! Я Маркса читал, про человека и про обстоятельства. А все же в трудные минуты, в испытаниях, нужно оставаться самим собой... Когда-то довелось мне хлебнуть мяса в лагере, до побега к партизанам, там всякое было, и предатели были. Но таких — единицы, а в массе-то люди — все же люди, гордые существа.

— Эх вы куда от папирос шагнули, — заметил Андрей.

— А это в большом и малом. С малого все и начинается, с потери, с уступки себе... Мир один, все в нем сплетено, замешано крутовато — Он снова засмеялся, как бы застеснявшись своих обобщений. — Так сказать, диалектика.

Андрей не ответил, подавленный невесть откуда подступившим ощущением собственной униженности, родившей брезгливость к самому себе, к сияющему вокруг утреннему солнечному зимнему миру. Честь мундира оборачивалась гаденьким инстинктом — уберечься!..

Они дошли уже до середины колонны, когда Довбня вдруг завозился у одной из старых машин с красными пятнами на днище кузова.

Подбежал незнакомый старшина, и после короткого объяснения выяснилось, что пятна — следы от пролитой краски, в этом легко убедиться. Довбня, колупнув ногтем пятно, согласился, но расхолившийся старшина, шустрый старичок в шикарной офицерской, из голубого меха, шапке, неожиданно полез на рожон и заорал на Довбню — какое тот имеет право проверять военные машины?!

— Взять его, — заорал он двум точно из-под земли выросшим автоматчикам. — В штаб его, там разберутся!

Андрею ничего не оставалось, как вступить за милиционера.

— Оставь его, старшина, — сказал он как можно миролюбивей. — Человек при исполнении долга.

— А вы кто такой? — запетушился старшина, правда, уже сбавляя напор.

Андрей протянул ему удостоверение, представился.

Вежливость, видимо, тронула старшину, он дал знак автоматчикам, те отпустили Довбню.

— Сами дойдем до штаба, возьмем допуск, не волнуйся, отец, — сказал Андрей, угощая всех троих сигаретами.

— Ну что ж, если так, — буркнул старшина, — под вашу ответственность.

Трое удалились. Довбня, пытливо посмотрев на лейтенанта, вздохнул:

— Видно, бесполезное дело.

— Смотрите, а то я могу взять допуск.

— Не надо...

Андрей понял, что милиционер просто сжалился над ним, и еда не сказал «спасибо».

— Но уж извиняйте, вынужден буду доложить вашему начальству. Долг службы.

— Ясно..

Довбня все еще переминался с ноги на ногу, буравя спутника взглядом — чего-то ждал, и Андрей, как бы подчиняясь чужому вызову, неожиданно для себя вдруг выпалил в упор, в прячущиеся под густыми бровями бурава:

— Доложите, доложите, что взяли мы... Могу даже подписать протокол, как там это делается у вас. Или поверишь на слово?

Довбня пристально, тяжело посмотрел на него — в глубине его стальных глаз мелькнула тень усмешки — и присел на пенек, усиленно дымя самокруткой. Потом сказал отрывисто:

— Ты не говорил, я не слышал.

— Не надо меня жалеть, старшина. Будем себе верны...

Тот не сразу ответил, все еще глядя исподлобья снизу вверх, со своего пенька.

— Ты что, дурак, что ли?.. — Голос его осип.

— Я не дурак, — сказал Андрей, — но и ты не поп-исповедник. Сначала мораль преподнес, а теперь доволен, грехи отпускаешь?

Довбня с кряхтением поднялся с пенька, отряхнул полушубок:

— При чем тут ты, дурья башка? — Довбня сплюнул. — Скажи спасибо, выборы на носу. А мы дадим врагу пищу, жирную жратву? Надо ж понимать момент... К тому же сами солдаты на такое бы не пошли. Использовали их, ясно?

Довбня сердито насупился. На скулах налились желваки. А перед Андреем вдруг встало милое, исполненное беспомощной укоризны, потерянное лицо Горпины, партизанской связной, пожертвовавшей своим счастьем, чтобы спасти людей. Ох, не о свинье она жалела, нет. Обмануть ее сейчас, нет, не просто обмануть, напроць откреститься от своих действий, после того, как она узнала правду, значило предать самое дорогое...

Все это он спокойно выложил поникшему Довбне.

И почувствовал, как свалилось с плеч, и знал уже, что не отступит, иного пути нет. И только сердце отстукивало тяжело и гулко.

— Ну-ну, — сказал Довбня.

— У меня дома нет бумаги. Пойдем, напишу рапорт и отправлю в полк. Твое дело сторона. Сами разберутся...

\* \* \*

Под вечер вернулся Юра, веселый, возбужденный, промерзший до синевы, стал докладывать, едва переступив порог:

— Все сделано, товарищ лейтенант, вчистую...

— Как?

— Вчистую... Это Колька велел передать... — И, словно опомнившись, потупился, качнул головой осуждающе. — Не хорошо все это...

Андрея вдруг разобрало, прямо все закипело внутри.

— Ты хоть глаза-то подними, агнец божий, — оборвал он его. — Тебе что-то не нравится, чистюля, можешь отказаться, уйти из помощников, тем более что некому тебе скоро будет помогать...

— Вы... не то говорите, товарищ...

— Что сделано?

Юра заморгал длинными своими ресницами и стал похож на обиженную девочку.

— Ну, я прошел всю колонну — нет. Тогда я понял, что он, наверное, подался в поле, иначе говоря — решил ехать, пока хватит горячего, следовательно, где-то застрял по дороге. Я все рассчитал, не ошибся. И на станцию — дороги-то идут параллельно. Вскочил в товарняк и смотрю в оба... Незаметно для себя Юра увлекся рассказом, глаза его разгорелись, воображению его, должно быть, рисовалось опасное приключение, героем которого он невольно стал...

— Ну, смотрю и вижу — на опушке он! Я сразу узнал по отбитому ящику, прыгнул на ходу... Как в столб не угодил, вот столечко осталось, а то бы все!.. — Он счастливо перевел дыхание и сразу сник, видимо, понял — хвастаться-то нечем...

— В общем, снова сел на товарняк. В полку взял у дневального бензин, заправились.

«Все правильно. Подробности ни к чему. И солдаты не должны отвечать за своего растяпу-командира...»

— А почему...

— Что?..

— Вы сказали — скоро некому будет помогать?

— Потому! Собери сейчас же всех сюда.

— А Мурзаева?

— А что Мурзаева?

— На часах.

— Ничего. Не украдут нас светлым вечером.

\* \* \*

Они сидели перед ним с понурым видом. Лахно, двигая бровями, время от времени вздыхал, хотя к происшествию никакого отношения не имел, да и все остальные — тоже. Кроме Бабенко, преданно глядевшего в рот командиру. Андрей по-

думал об отосланном рапорте, и что скоро им расставаться, и, может быть, никогда больше не увидит их. Бесславный исход... Но тут уж ничего не поделаешь, все правильно...

Он постарался объяснить им смысл происшедшего, сказал о Горпине, и, кажется, все поняли, лишь в похожих на пуговки глазах Бабенко возникло легкое волнение, не уловил он, что ли, куда клонит командир.

— Значить, самим голову в петлю?

— Что сейчас-то... — буркнул Политкин, — признавай, не признавай... А что сварили, то и съедем...

— Кто вас подбил на это? — наконец спросил Андрей.

Курносое лицо Бабенко, еще хранившее детскую свежесть, с чуть заметными морщинами у рта, изобразило мучительные усилия. Трусит? Не хочет выдавать Кольку? В эту минуту Андрею захотелось, чтобы и впрямь было именно так. Пусть лучше ЧП, нелепый случай, нежели чья-то продуманная операция. Тогда худо. Значит, враг рядом — коварный, жестокий, и независимо от того, чем кончится дело, беды не миновать.

— Ты пойми, — сказал он как можно спокойней, не спуская глаз с ефрейтора, — пойми, мне нужна правда. Отбрось ложную поручу, все равно это повиснет на нас. Я не собираюсь выгораживаться.

— Жаль, — только и сказал Бабенко. — Брали мы с Колькой.

— Я не о том спрашиваю.

— Я и думаю, откуда пошло? Мы ж не в себе были от этой бурды — подмешали нам какой-то гадости. Кто-то из этих парубков, шо со Степаном. Чтоб нам было с той самогонки. Взбаламутили нас!

— Кто?

— Кто его знает, до беса их было.

«Все, — подумал Андрей, — концов нет, а если бы и признался: ну сболтнул спяну, пошутил, показал, где брат, помог. А клюнули-то свои — от этого не уйдешь».

— Как это было?

— Да очень просто — кто-то вякнул: крайняя, мол, хата, самогонщица, шкура немецкая. Раскулачить бы ее чуток. Колька и завелся. Пошли все, но те подначивали, а мы брали.

Ну, ясно. Обдуманый грабеж со всеми вытекающими последствиями. Он поймал участливый взгляд Бабенко. Должно быть, только сейчас понял ефрейтор, что все это значило.

— Да, хреновые дела, — побледнев, сказал Бабенко. — Что там говорить.

— О чем вы тогда-то думали, обормоты?

— О мясе... О чем еще... Самогон за нас думал.

— Бабенко...

Ефрейтор поднялся — руки по швам.

— Поедешь к Николаю, машину выскоблить дочиста...

— Ясно.

Он всегда понимал лейтенанта с полуслова, этот шустрый пацан, рано ставший солдатом. Вспомнилось, как однажды в немецком окопе он, Андрей, прыгнул на часового, успевшего выставить автомат, прыгнул не колеблясь, потому что сбоку был Бабенко. И не ошибся. Но сейчас...

— Комар носа не подточит, — обрадовался ефрейтор.

— Это дело десятое... А вот вы там сидите и носа не высовывайте. В отпуск вы, ясно? Разрешил вам побывку, к родным, на неделю... В Коровичи ваши знаменитые. Все.

Что-то дрогнуло в округлом лице Бабенко.

— Вы что ж, на себя хотите взять?

— Это несправедливо, — вмешался Юра.

— О справедливости надо было раньше думать! Приказ ясен? И нечего обсуждать!

Андрей сам не знал, на что надеялся, отсылая Бабенко, — наивная душа. Как будто, начнись следствие, эта побывка могла спасти их с Николаем. Но сейчас об этом и думать не хотелось, только бы поменьше жертв, лишних жертв... И еще он вспомнил о Колиной матери, не раз писавшей ему письма-жалобы на ледащего сыночка.

— Сержант, — сказал он Юрию. — Железная дисциплина. Бодрствующим читать устав, с утра строевая... — Это было смешно — с тремя бойцами заниматься строевой, но пусть почувствуют. — Строго по расписанию, как в казарме. Политчас, матчасть, строевая, чтоб поменьше охоты было до чужого добра. Все ясно? Идите...

Все вышли, а Бабенко не трогался, стоял, опустив голову.

— В чем дело? — спросил Андрей. — Приказ ясен?

— Товарищ лейтенант, все равно ж...

Вот именно. «Все равно ж».

— Сидите там, пока не дам знать, хоть до второго пришествия. Может, как-то обойдется для вас, не знаю. А переигрывать поздно. Рапорт ушел. И ты уходи с глаз, смотреть тошно.

Бабенко поморгал растерянно, повернулся и вышел. Только дверь чуть слышно приоткрылась, так осторожно он закрыл ее, будто оставлял в доме больного.

Андрей и впрямь был болен. Ломило виски, лихорадило. Он лег и укрылся шинелью, стараясь ни о чем не думать.

Не лежалось, не спалось.

На часах было девять, когда он встал, и, кое-как напялив шинель, пошел к солдатам.

\* \* \*

Возвращаясь домой, он думал об отправленном рапорте. Теперь, как тонко заметил Довбня, оставалось положиться на волю божью. Томящая пустота сменялась промельком надежды всякий раз, когда он вспоминал о подполковнике Сердечкине. Но стоило представить, как тот разворачивает официальное письмо, сдвигает брови, свет в душе гаснул, угрожающе смыкались потемки, и Андрей отчетливо понимал, что надеяться не на что.

«Закрутится машина, не остановишь».

Была бы мать жива — написал бы. Хотя... может, оно и к лучшему, меньше горя. А уж очень хотелось сесть и написать. Кому-нибудь. Отвести душу...

...Не повезло, ах, черт, как же ему не повезло! Не бегать уж теперь по институтским лестницам, как мечталось, не сдавать экзамены. Сдал самый главный. Скоро и зачет получать. По всем правилам. Будь оно трижды проклято... И этот поселок, притаившийся в снегах, и бандюги... Неймется человечеству... Тайные сговоры, акты, пакты, стрельба, казни, обман...

Вот и ты приобщишься — напакостили человеку. Вдруг ощутил себя маленькой затерянной букашкой в этом жестоком огромном мире. Может быть, в голове еще бродила вишневка на спирту от щедрот Довбни, старавшегося его как-то рассеять. Рассеял... Все здесь стало чуждо ему. Мир стал чужим, сам себе чужой...

Скорее почувствовал, чем увидел, шелохнувшуюся тень за углом, привычно отпрянул к забору.

— Ты, лейтенант?..

— Как видишь. Чего надо?

Что-то очень уж робко звучал голос Степы, замаячившего сбоку в темноте. В эту минуту хотелось, чтобы он кинулся, выстрелил или черт знает что бы сделал — зачем-то же поджидал!

«Уж я бы ему влепил — и сразу бы все стало на место».

— Видеть не вижу, а слышу хорошо... Можно зайти к тебе, увидишь.

— Мне не обязательно.

— Мне тоже... А зря серчаешь. Что это мы на расстоянии беседуем?

— Подойди, разрешаю.

Степан хохотнул несмелым смешком, в котором прозвучало что-то похожее на горечь. Андрей все еще держал руку за обшлагом, поглядывая в тот угол, откуда вышел Степан.

— Ты не из пугливых.

— Уж слышал однажды. В чем дело, опять беседы на тему мое-твое и что такое демократия?

Степан не ответил, не спеша, точно на прогулке, поплелся рядом.

— Слышал, неприятности у тебя...

— Ты от Стефы? — спросил наобум, не желая откровенничать со Степаном.

— Неважно... Был, да ушел. У нас теперь так, не клеится... Моя, конечно, вина... Капризы всякие не терплю, — и засмеялся колюче.

Однако, сомнение! Его вина... Лишь на мгновение отпустило внутри, а потом снова навалилось. Ни к чему все теперь... От Степана как бы исходил невидимый ток: стояло им встретиться, как оба начинали искрить. На этот раз искра погасла, едва вспыхнув.

— Я к тебе насчет... происшествия... — сказал Степан. — Винovat я. Так что не терзайся и сообщи куда следует...

От неожиданности Андрей даже остановился.

— Я, — продолжал Степан, — взбулгачил парней, ну, а они с хмелю-то не туда поперли. Так что все равно — я...

— Кончай истерику, — сказал Андрей и почувствовал облегчение.

Все-таки прав он был в споре со своим помощником, было бы просто подлостью оговорить Степана перед Довбней. Сама мысль использовать малейшую возможность, отвести от себя удар таким образом была ему противна. Бог с ним, с соперником... Ха, наверное, не сладко ему потерять Стефку, Андрей уже чувствовал, что это так и что Степан храбрится, и ему даже стало жаль его.

— Паршиво получилось, — сказал он. — Но уж в этом-то виноват я.

О, гордыня. Кого ему было больше жаль в эту минуту — себя или Степана?

— Теперь уже все равно. Мне отвечать. Так что скоро прощай, Ракитяны, а вы уж тут помиритесь, она славная девчонка, нельзя ее обижать.

Даже тошно стало от собственного великодушия.

— Ты что... — сказал Степан дрогнувшим голосом и тотчас заговорил торопливо, взалхлеб: — Вали на меня, все вали. Может, все-таки учтут, я не откажусь. Мало ли что бывает по пьянке, почему ты, ты-то при чем?.. А Стефа... что ж, лишь бы ей было хорошо, я тебя уважаю. Тебе плохо, и ей плохо будет. А у нас-то все равно разбито корыто, я ей все отпущу. — И снова засмеялся, как бы пряча неловкость. — У нас обычай такой — отпускать, если вдруг передумала, а с другим по-серьезному сошлась, — не держать зла.

— Да она перед тобой чиста!

— Вообще — да, да! Но такое уж правило — отвергнутый отпускать должен.

И было по-прежнему муторно от этих взаимных, наперебой, уступок. Неприятной была сумбурность Степкиных откровений, и его, Андрея, самоотверженная попытка отступить от того, на что он, собственно, уже не имел права. Скорей бы кончился этот никчемный разговор, остаться одному, никого не видеть, ничего не знать.

— ...так я пойду, — словно издали донесся робкий голос Степана, — мне еще клуб закрывать.

— Да.

Андрей шевельнул рукой ему вслед, как будто Степан мог разглядеть этот прощальный жест, и ощутил в ладони теплую рукоять пистолета.

\* \* \*

Хоронили Фурманиху под вечер. Общительность старухи, ее широкие связи при жизни были известны, и все же нельзя было не подивиться многолюдью на похоронах. Андрей стоял у окна, глядя на траурный кортеж. За гробом, тонувшим в розвальнях, топало сотни две хуторских баб, в большинстве молодых, каждая из них, очевидно, чем-то была обязана Фурманихе, хранила добрую память о расторопной и в меру, побожески, хитрой посреднице, — жизнь есть жизнь, которая вдобавок ко всему выручала молодых в деликатных делах доморощенным акушерством.

Теперь они все шли, понурясь, хлюпая носами в шерстяные

платки, а позади вышагивали их мужья, окутанные облачками табачного дыма.

Фурманых лежала в бумажных цветах, маленькая, строгая, точно уснувшая птичка, и над ней, сгорбясь, с растерзанным хмельным лицом, неподвижно склонился Владек — простоволосый, с красной от холода лысиной. Кто-то из шагнувших вслед за саними заводских дружков-стариков пытался натянуть на него шапку, он всякий раз деревянным движением поднимал руку и сбрасывал шапку на снег.

Грянул жиденький, но дружный оркестр, и Андрей, невольно вздрогнув, увидел знакомую баранью папаху Степана над медным раструбом.

— Откуда оркестр? — спросил он Юру, стоявшего за его спиной у окна.

— Клубный. Степка бесплатно выделил.

Весь день, прошедшие сутки, он ломал голову над историей с убийством. Хотя, по правде говоря, не до того ему было — старался отвлечься от тягостных мыслей. И все-таки дикий этот случай не шел из головы. Придумывал и отвергал десятки вариантов. При виде Степана за гробом мелькнула досужая ассоциация с Раскольниковым. Он брезгливо отмахнулся от нее, припомнив вчерашнюю встречу. Степка — говорун, излишне эмоционален, вспыльчив. Но чтобы спокойно, профессионально удушить старуху, а потом скорбно дуть в трубу на ее похоронах? Фурманых... Что-то мучило, не давало покоя в ее рассказе, чего-то он не мог уловить, упустил и теперь не мог вспомнить, что именно.

Перебирая в памяти все случившееся за последние дни, он старался добраться до сути, заходил так и эдак — словно пытался поднять непосильную тяжесть.

«Итак, «партизан» приходил к ней за деньгами. И убил. Не из-за денег. Было нечто более серьезное, нежели нужда в деньгах, — страх разоблачения. И это связано с землянкой, с той кладью... Сказала ли ему старуха о том, что я заинтересовался золотом, или нет? Если да, то он уже шел с определенным намерением... Но кто же он? Степан — единственный человек, которому не нужны были советские деньги, если он действительно собирался ехать».

Было такое ощущение, словно разгадка где-то рядом, ясная как день. Но мысль ускользала, и он тщетно старался сосредоточиться, уловить...

«Но какого черта я думаю обо всем этом. Теперь уж думай — не думай...»

А что, если старуха соврала? Не досказала? Может быть, все-таки не утаила от мужа? Но тогда Владек мог знать о нем, об этом «партизане». Муж и жена... Неужто не поделилась? Вполне... Значит, надо расспросить старика! А вдруг?..

\* \* \*

Мурзаев дремал на нарах, Юрий склонился над учебником, присланным Любой.

Он поднял глаза, вымученно улыбнулся. Андрей подумал, что вот Юра живет уже будущим, и он тоже хотел бы вот так



жить будущим и почитать литературу. И только сейчас с болью подумал, что для него все кончено. Еще день, два — придет следователь.

— Где Владек?

— Неживой, — сказал Юра участливо. — После поминок завесили ему окно, сам уж не мог.

— Зачем?

— Не знаю. Довбня заходил — приказал...

«Вот оно что, значит, я был прав. Владек — единственная ниточка. Сумел ли милиционер чего-нибудь добиться от хмельного старика?»

Он не стал будить Владека...

Постоял. Закурил, протянул Юре пачку...

— Да, ты ведь не куришь...

Вернулся к себе, в охолодавшую комнату барака, бросил в печь пару поленьев и долго сидел, отрешенно глядя на потрескивающий огонь, борясь с дремотой, потом, растормошив уголья, закрыл заслонку, прилег, не раздеваясь, и сразу провалился как в душную яму.

...Он вошел почти неслышно, хотя Андрей хорошо помнил, что запер дверь. Лица его различить не мог, но чувствовал, что нет в незваном госте ни страха, ни волнения, даже привычно-затаенной насмешки — присел рядом на стул, точно доктор у постели больного. «Наверное, несмотря на свою вину, он чувствует верх и полную безопасность», — подумал Андрей не без дрожи, но вместе с тем на диво спокойно нащупав под подушкой кинжал. Кинжал, трофейный, он давно подарил Сердечкину как самую дорогую память о разведке, но почему-то не удивился тому, что он под рукой, а лишь позлорадствовал мысленно.

«Сейчас, гад, ты мне все расскажешь — и как старуху придумал, и как ребят спровоцировал. И не вздумай бежать — худо будет».

А гость все улыбался, слушая его мысли. «Но, может быть, это не он, вовсе не он, не Степан? Отчего я вбил себе в голову?» — с какой-то мгновенной слабостью подумал Андрей, не в силах шевельнуть онемевшей рукой, вдруг поняв, что связан, скован, повержен.

«Господи, боже ж мой, — сказал гость, не раскрывая рта, а словно обмениваясь мыслями, и Андрей, лихорадочно впитывая их, уже не мог разобрать, где чьи, — боже ж мой. Миллионы людей погибли на войне... А тут — развели антимию со старухой-перекупщицей. Миллионы погибли, давили друг друга, как блох, и никто не терзался. О чем думает человек, идущий в массу, повинуясь команде, общей цели? А? Или за него думал кто-то, освобождая от ответственности? Вот именно. Потому что в общей цели каждый видел и свою. И я ее вижу! Ты был прав, помнишь: каждый защищает свои привилегии!»

«Нет такой человеческой цели, нет! — вдруг заорал Андрей, — чтобы убивать безнаказанно человека».

«А, — засмеялся гость, — за себя дрожишь? Зацепило? С дорожки накатанной сбило баловня, юного офицера?»

Что-то тяжелое, липкое повалилось на голову, Андрей рванул из тисков и ударил клинком.

Очнулся он в липкой испарине, пахло чадом, видно, не догорели головешки. Распахнул дверь, выдвинул заслонку и, проветрив комнату, снова улегся. И подумал о Стефе. Увидел ее лицо в конопушках, лучистый взгляд, затаивший грусть, — и как она пугливо чмокнула его в щеку, прощаясь. И вдруг с какой-то ужасающей ясностью осознал, что все эти сумбурные, принесшие лихо дни ни на минуту не забывал о ней, только чувства жили как бы под спудом, прячась, как улитка в раковину, боясь света, а сейчас внезапно обнажились, и он понял, что не сможет без нее, не может даже представить себе, что она уйдет из его жизни навсегда...

\* \* \*

Следователь явился не один, с ним приехал подполковник Сердечкин, и это больше всего взволновало Андрея. Мысленно он примирился со своей участью, будь что будет, и хорошо бы все это произошло после отъезда Сердечкина, только бы он недолго пробыл. Стыдно было смотреть в глаза замполиту, такое было ощущение, будто залез ему в карман и схвачен за руку.

Они сидели в маленькой комнатухе с двумя белоснежными койками рядом с кабинетом Довбни — своеобразной гостинице при милицеемском пункте. Тут же, должно быть, держали взятых под стражу, потому что окна были забраны решеткой.

Тошего офицера — очевидно, это и был следователь — Андрей видел вместе с Довбней. По дороге сюда они свернули к баракам, видимо, следователь решил сперва учинить допрос солдатам, а его, командира, оставил напоследок... Андрей молча ждал их прихода, внутренне заклиная следователя поскорей вернуться, избавить его от этой муки — оставаться с глазу на глаз с Сердечкиным. Страху уже не было, только стыд. Он слушал и не слушал подполковника, вот уже минут пять сидевшего за столом с понурым видом. Серые, чуть раскосые глаза Ивана Петровича глядели исподлобья с недоумением, словно он впервые видел Андрея и пытался получше рассмотреть.

— Ну, — сказал наконец Сердечкин и привычно потер переносицу, как бы пересиливая неловкость паузы. — Чего воды в рот набрал, дело худо.

— Да... Улик нет... — машинально повторил он слова Довбни.

— Но мне ты признался в рапорте. Или изволишь взять в сообщники? Совесть испытываешь по-дружески?

Это ему и в голову не приходило. Просто замполиту он не мог лгать.

— Не в уликах суть, — сказал Сердечкин. — Худо потому, что независимо от исхода дела вы — мародеры. Ничего не скажешь — прославились. Это хоть ясно тебе, доходит?

— Не совсем.

— Ты мне ваньку не валяй! — вдруг заорал Сердечкин. — Ты что думаешь, я тебе выручалочка?!

Теперь Андрею было все безразлично, и стыд прошел. Слишков уж кипел подполковник. Честь полка, вот что его тревожило. Раздуют теперь кадило, как пить дать.

— Ну ладно, хватит... Судите, и дело с концом.

— Что-о?!

Было грустно смотреть на взволнованного не на шутку подполковника.

— В общем, сам себе яму вырыл или не сам?

Андрей уже не слушал, опять думал о Стефе, а к горлу все подступал комок.

— Послушай, — сказал Сердечкин, — возьми себя в руки, давай обсудим спокойно. Что у вас с этим Степаном? Может, Довбня прав, был у него повод?.. Все подстроено, чтоб тебя устранить, очень просто.

— Не думаю... Не хочу прятаться за чужую спину.

— Чушь! А если он не такой чистенький, как ты думаешь, тогда эта акция не просто месть влюбленного, а стремление дискредитировать нас, отвлечь внимание...

— Нет.

— Ах, ах... Институтка ты, а не офицер! Какие тонкости с этим падлом. У них-то рука не дрогнет, если понадобится!

— Какой я интеллигент, вы знаете...

— Тем более, нечего нянчиться.

— Что значит — нянчиться? И от чего, собственно, отвлечь?

— От убийства.

Андрей внимательно посмотрел на подполковника.

— Какие у вас основания, чтобы так говорить?..

— Нет пока оснований, нет... — Сердечкин устало откинулся на спинку стула. — Нюх у меня... и кое-какие имеются предположения. Темный тип.

«Уж не Довбня ли с ним поделился? Ай да Довбня!»

— Тут какая-то ошибка. Путаница. Сам голову ломаю.

Скрипнула дверь, не оборачиваясь, краем глаза, Андрей увидел того же офицера в капитанских погонах.

Следователь замешкался у порога, деликатно выжидая. Подполковник тотчас поднялся, сказал:

— Не буду вам мешать, — и выразительно глянул на Андрея. Но тот сделал вид, что не понял, и отвел глаза. Решение было принято, он словно прыгнул в пустоту, и в этой глухой саднящей пустоте снова выплыло лицо Стефы. Но о ней он старался не думать.

Следователь — длинношей, с вислым, чуть приплюснутым носом, был похож на пеликана из школьной «Зоологии», особенно когда поворачивал в профиль маленькую голову с огненно-рыжим гребешком.

Андрей смотрел на его снующий при каждом слове кадык и, стараясь укрепить себя, мысленно, с издевкой, размышлял об этом законнике, задающем стандартные вопросы: «Год рождения, звание, награды». Наверное, свежей выпечки, институтчик. Молод. Погончики новенькие. И не то, чтобы равнодушен, скорее спокоен. Как машина, выполняющая программу в заданном ритме. Говорил он, казалось, одними губами, лицо было неподвижно.

— Значит, вы признаетесь в содеянном?..

— Да.

— Но где же улики?

— Может, сами найдете...

— Вы что же, хотите сохранить честь и вместе с тем выйти чистеньким из воды?

— А каким из нее выходят?

У следователя почему-то побелел один только нос, точно его окунули в муку.

— Не ловите на слове, — тихо сказал он. — Как бы вам самому не пойматься. На ба-альшой крючок... — Он помолчал, работая кадыком. — Расскажите по порядку.

Что-то у Андрея отпала охота вообще с ним разговаривать.

— Вы понимаете, что несете в полной мере моральную и юридическую ответственность, как командир?

Он-то понимал. Его взвод... Это больше, чем семья. Дружба их была скреплена каждодневным риском. Наверное, следователь что-то прочел в его лице, смягчился.

— Как это произошло? По порядку. — Перо в его руке слегка трепетало над листком бумаги, будто лисий нос у сусличьей норы. Если у него были соображения, связанные с участием подполковника в судьбе Андрея, то сейчас, видимо, вылетели из головы. Может быть, это было первое его дело...

— Где сейчас исполнители?

«Исполнители...» Это, стало быть, Колька с Бабенко. Значит, не выдали их ребята. А что толку...

— В отпуску. Тут недалеко, местные.

— Отпуска запрещены. Зачем вы усугубили дело еще и должностным нарушением?.. Вы что, наивны или меня считаете простаком?

И он снова взгляделся в Андрея непроницаемо-темными своими глазами, кажется, что-то понял, кивнул головой.

— Когда вернутся?

— Неделя.

— Не буду поднимать этого. Даю три дня. Верните, мне надо их допросить. Между прочим, машину вашу я осматривал. Чистенькая. Даже ящик на старых гвоздях...

Как ни тошно было Андрею, а подумал с невольным восхищением: ювелирная работа.

— Вы поняли? А пока подпишитесь.

Андрей взял согретую чужой рукой самописку и, не глядя, поставил росчерк, поймав при этом сочувственно-удовлетворенный взгляд следователя. Вошел Сердечкин, кашлянул, оглядывая обоих.

— Ну, как вы тут, молодцы-налетчики, закончили? — шуточный тон явно не давался ему. — Довбня чай обещал. Почаеюем, капитан, что ли? — Наверное, это относилось и к Андрею. Но тот понимал двусмысленность своего положения.

— Разрешите идти?

Подполковник кинул взгляд на капитана, тот сказал:

— Видите ли... На время следствия должен просить вашей санкции на домашний арест.

Он мог бы, наверное, и не просить санкции. Сердечкин как-то сразу свял, избегая смотреть на лейтенанта. Понимал, что домашний арест для командира в нынешних условиях вещь нелепая, а вслух произнес:

— Сержант пока справится? До особого распоряжения...

— Вполне. Я ведь тоже не спать собираюсь.

— Выполните указание следователя. — И отвернулся к окну. Капитан усиленно возился с пухлым портфелем, стараясь защелкнуть замок. Андрей козырнул и, попятившись, толкнул плечом дверь.

\* \* \*

Довбня сидел, подперев рукой тяжелый подбородок, шевеля мокрыми оттаявшими бровями, и что-то писал. Волосы на лбу слиплись, и он то и дело поправлял их пальцем.

Под козюхом, висевшим на гвозде, — Андрей только сейчас заметил — образовалась лужица на полу.

— Вот так елки-веники, — сказал Довбня, избегая смотреть на него. Андрей промолчал, и Довбня, сложив листок вдвое, положил в ящик. — Видел я этот партизанский схорон.

— Какой схорон? — спросил Андрей, хотя уже все понял, да как-то не верилось... Житье-бытье старухи в оккупации казалось далеким прошлым. Можно ли было отыскать землянку в лесу, зимой?

— Когда же успел?

— А зранку. Разбудил Владека, растолковал ему. Он с горя вроде поглупел, но главное понял. Место приметное, возле озера расщепленный дуб в два обхвата. Отсюда десять километров на снях, да два по снегу.

Сдержанное самодовольство и вместе с тем сочувствие отражались на его грубоватом лице.

— Да, — невесело усмехнулся Довбня. — Один знакомый охотник говорил: не взял зайца, да видел. Будь доволен, что зайцы не вывелись.

— Значит, безрезультатно?

Довбня вынул из ящика тонко плетенную цепочку, подержал за конец, опустил, и золотая вязь с шорохом упала обратно.

— Завалилась в самый уголок, землей присыпало.

— Обронил?

— Может, и обронил.

— А чья она, поди узнай.

— У моего подозреваемого часов карманных никогда не было. Но это, в общем, ничего не значит. Есть кое-какие мыслишки.

Андрей не стал уточнять, кого старшина имеет в виду, а тот явно недоговаривал.

— А пошукать бы не мешало. Тряхнуть бы избу.

— Обыск?

— Хотя бы.

— А если ничего не даст?

— То-то и оно, — сказал Довбня.

«Неужто в Степана целится? Больше как будто не в кого. Но тогда откуда эта нерешительность?..»

— А все же?

Старшина словно бы колебался, стоит ли делиться секретами. Андрей-то сам следственный, но, видимо, решив, что молчанием обидит лейтенанта, сказал:

— В наших архивах ничего нет. Но история с разгромом отряда и с этим тайником, возможно, связаны. Дал я срочный запрос повыше, пусть покопаются в трофейных архивах, их только-только в порядок приводят, а вдруг мелькнет зацепочка.

Просил поосторожней, без шума, не обидеть бы зазря человека... Они там тоже Митрича знают. Но и правду тоже надо знать. Вот так, елки-веники... Ты завтракал?

— Нет.

— Пошли, домашним борщом угощу. Не заскучал по домашнему харчу?

Андрей пожал плечами.

— Когда последний раз мамка кормила?

— Не помню... и не до борщей мне.

— Пошли, — сказал старшина твердо. — Пошли, пошли, лейтенант.

\* \* \*

В полдень появилась Настя. И опять Андрей с трудом узнал ее: была она непохожа на ту разбитную бабенку, какую видел впервые с Довбней; и не та робкая, застенчивая, что приходила в клуб. Это была какая-то третья Настя, с посеревшим лицом, на котором пустовато синели глаза. С первых же слов их застигло туманом, и она, не здороваясь, сыпанула глуховатой скороговоркой, так что он не сразу разобрал, чего ей надо. А надобно ей было не больше не меньше, как его вмешательства в судьбу Коленьки.

— А шо з Колей будэ, шо?!

Она упала головой на руки, вытянутые по столу, большие, крепкие, почти мужские руки, и закаталась из стороны в сторону.

— Спомогай, родненький, спомогай, христа ради. Вы ж обое под смертью ходыли, обое ж вы... Спомогай!

Однако вспыхнула у них любовь! Пожаром. Напрасно он втолковывал Насте, что сам под арестом, уже сделал, что мог — она твердила свое, как помешанная: «Спомогай!»

— Встать! — крикнул он, чтобы хоть как-то привести ее в чувство. — Чего реवेशь, как по покойнику?!

Она притихла, моргая мокрыми ресницами, и лицо у нее было как у богородицы на иконе. Хоть сам плачь.

— Кто у вас был тогда, кто? Кроме Степана?

На миг — то ли ему показалось — в лице ее мелькнул страх.

— Кто у вас был? Чужой кто-нибудь. Не из поселка... Я же знаю.

Она все качала головой, и глаза у нее стали далекими, синяя мука и туман.

— Что ж ты Колю спасти хочешь чужими руками? — не выдержал он. — А свой палец приложить боишься. Хороша, нечего сказать. Ты же его и предала, ты!

Она отпрянула, замотав головой.

— Нет, нет. Я его не звала... Вин сам, ще при нимцях силком ходыв, гадюка плосконоса...

— Кто? Имя? Звать его как?

— А я знаю... Прозвище було — Монах... Монах и Монах. Спросишь, бывало, только усмишка на морде: не пытай, як зваты, дай покохаты. Гад!

Андрей уже почти не сомневался, мысленно впиваясь в еще недавно виденное лицо с перебитым, как у боксера, носом. Мод-

ное пальто. Шапка пирожком — гость старшины, исчезнувший священник. Монах?!

Откуда он взялся? У кого хоронится?

Она ответила уже совсем спокойно.

— Хиба ж я знаю? Мабудь, в лису. Воны таки, усю жизнь в лису, гитлерчуки...

— Не помнишь, он выходил из хаты, когда пили? Выходил или нет? И надолго ли?

— Може, и выходыв... Да, вроде выходыв, а потом приишов, руки мыв у синях, я еще сказала: «Який чистюля, с витру да й руки мыты...» А шо? Вин тут при чему? Чи то вин их на свиню, на Горпыну навнв? Ох... Ох, гад, своими руками задушу! Ну, не приведи бог, побачу. Ну!

— Вы у Довбни были?

Она сказала просто:

— Сам приходив, а я как неживая була, ничего ему не сказала. Говорю, больная я, отстань. Без тебя тошно...

— Он сам приходил или со Степаном?

— Не... Вроде сам, вин раньше пришев, приставать стал, я его гурнула... А тут ваши хлопцы пидошли. Потом пить стали... То ж точно вин про свинью и зачав, точно. Згадала зараз!..

— Вот пойдите к Довбне и все объясните. Это надо. Это очень надо, необходимо. И для Коли вашего. Понятно? Будем его вместе спасать...

Она закивала, затрясла подбородком, непослушными руками завязывая под горлом шаль...

И почти следом появилась сама пострадавшая — Горпина. Вернее, вначале вошел предзавкома, а уж потом позвал ее, из сеней. Она вошла с виноватым видом, присела на краешек табуретки.

— Вот, — сказал Копыто, — все мы люди одного корня, одно дело делаем, мириться надо...

— Я ведь все понимаю, — вставила Горпина, подняв прекрасные свои каштановые очи. — Ну, чего не бывает сглупу, с водки с этой, мне потом Бабенко ваш объяснил, жаль, что так получилось. Теперь вам неприятности.

— Дадут тебе на свинью, и дело с концом, — сказал предзавкома.

— Да не надо мне. Что я, из-за мяса горюю? Наживу...

И столько искренней душевности было в ее словах, что Андрею не хотелось ее разочаровывать: «Раньше надо было. Раньше...»

Он поймал на себе пытливый взгляд предзавкома и невольно вздохнул.

— Ну, ты шагай, Горпина. Дежурство у нас...

Она протянула Андрею ладонь дощечкой, он пожал ее, ощутив ответное пожатие. И проводил до двери.

— В чем дело? — спросил Копыто.

— Да так... Следователь был.

— Вон куда зашло. Тогда все ясно. Жаль. Надо же... Да-а, дело то серьезное.

Он встал, как-то слишком уж быстро засобирався, обронив что-то насчет своего дежурства и повышения бдительности.

— Это же явная провокация, — сказал Андрей. — Какой-то бандит, по кличке Монах, действует...

Казалось, Копыто вздрогнул, теперь его лоб был похож на гармошку.

— Слыхал. Еще в войну. Один из ихних главарей, кажется, проводник, важная птица. А вам откуда известно?

— Да уж известно, — у Андрея пропала охота жаловаться.

— Если известно, сообщите в милицию... — Копыто скомкал шапку. — Да. Жаль, следовательно, значит, был. — И еще добавил уже на ходу: — Взять бы его, бандюгу, было бы прямое доказательство в смысле провокации...

\* \* \*

Совсем уж неожиданно появилась неразлучная пара — Бабенко и Николай. Чуть похудевший, с обострившимся лицом, Николай докладывал о прибытии, не утратив обычной своей рисовки, но движения его были несколько скованны, да улыбочка будто приклеенная. Бабенко же выглядел, как всегда, спокойно, — востроглазый, с воинственно торчащим ежиком.

— Кто вам разрешил? — нахмурился Андрей. Но в душе он был тронут таким проявлением солидарности, к тому же скрывать их и дальше, дружков закадычных, было бессмысленно.

— Совесть есть, — буркнул Бабенко.

А Николай сказал:

— Ша, лейтенант, все в порядке. Разрешите приступить к несению службы.

В уголках его красивого рта, под щеточкой усов, виновато скользнула усмешка: дескать, скоро наша общая служба кончится. Но вид у него при этом был весьма решительный. Что сделано, то сделано, назад не вернешь.

— Сесть можно?

— Можно, — ответил Андрей.

— Тогда перекурим со встречей. — Он вытащил свой кисет из трофейной замши и совсем по-ребячьи шмыгнул носом. — Надо было вовремя послушать вас, смотаться к родной маме. Щас бы пили первачок и закусывали домашним салом.

— Не трави душу, — сказал Бабенко.

— Слабонервный, — хихикнул Николай, но смеха не получилось, так, что-то булькнуло в горле. — А, черт. — Он перехватил окуроч, обжегший палец. — А все ж таки несправедливо это, чтобы фронтовика на такой бузе ловили.

— Чего ты раскис, — взорвался Бабенко, — чего ты воду пускаешь?

— Настю жаль, — тихо сказал Николай. — Вот вы верите, про нее разговор: такая-сякая, вагон с телегой, а вот я не верю. Человек она! И будет человеком, могла бы быть. Со мной. Это я вам объяснить не могу... Этого никто не объяснит. А вот знаю, что со мной она такая, какой ни с кем не была, хотя и не признается ни в жизнь. Гордая, зараза, а вот я чувствую, и все! Вот чувствую! Это уж так бывает, свой человек — кому чужая, мне своя...

Глаза его беспомощно забегали.

— Ага, — сжалился Бабенко, — так оно и бывает, кому попом, кому попадье, а кому и поповой дочкой.

Николай благодарно взглянул на него. Андрей сказал:



— Была она здесь, твоя Настя. За тебя просила...

Щеки Николая смешно сморщились.

— Жаль, — повторил он, — до смерти...

— А мать не жаль?

Он поднялся, сунув кисет в карман, покачал головой:

— Мать — само собой...

\* \* \*

И только Стефки все не было. Вначале Андрей выходил к часовым, подолгу околачивался на холоду, в надежде увидеть ее издалека. Раз или два мелькала белая дошка в просветах штагетника...

Он уже решился было зайти сам, да узнал, что их видели со Степаном возле клуба и дальше на дорожке к станции, мирно беседующими... Об этом ему сообщил вездесущий Бабенко, ставший добровольным соглядатаем, — видно, почувствовал, что у лейтенанта на душе. Вначале робко, потом с видом заправского сыщика, сообщал с участливым видом весть за вестью — одна горше другой, стараясь сгладить впечатление, но всякий раз верный правде.

— Вона будто строгая, лицом грустная, а он уж идет рядом, прямо не дышит, осина долгоносая. Чуть за подручку не берет. Мг... Ну, потом взял, позволила, но вроде не по душе ей. Потом, правда, засмеялась чегой-то... Правду сказал Политкин, бабы они все одинаковые, как кошки, ласку им дай!

— Значит, помирились.

— Видать, что так...

А на третий день в обед он пришел к Андрею понурый и, убито вздыхая и отводя глаза, сказал:

— Кажись, вчера помолвка была, что ли. Или загул по известному делу...

У Андрея зашло внутри. Даже не стал спрашивать, откуда ефрейтору известно насчет помолвки. Тот сам поспешил уточнить:

— Чую, аккордеон наяривает, я сунулся, керосину вроде занять. Ну, они сидят за столиком, он, еще какие-то парубки, мать ее зубы скалит. Видно, рада до смерти...

Это было уж и вовсе непонятно. Значит, Степан все-таки едет. Тупо зануло в душе. Не мог объяснить происшедшего, понять, осмыслить.

— Я его потом встренул, — бубнил Бабенко. — Разговорились. Я спрашиваю: что ж ты, в Польшу поедешь или тута останешься?.. «Поеду, — говорит, — потом. По вызову. Сейчас не могу, надо экзамены сдать за второй курс...» Учится он, оказывается, заочник, в каком-то институте во Львове.

Слова Бабенко входили в сердце, точно горячие иглы, потом боль сошла, лишь поднывало слегка. И опять казалось, будто все это — и Стефка, и этот поселок, и его беда — все ссн, вот проснется, и все кончится, растает...

Не растаяло.

В тот же вечер он встретил ее на улице, близ дома. Проход во двор был как раз посредине, и они неотвратимо сближались, сворачивать было некуда. Ноги тяжелели. Вот она ближе, ближе.

Вот поравнялись, и оба на миг будто замерли. Он сказал, неожиданно для себя рассмеявшись:

— Поздравляю.

У нее дрогнули ресницы. Кажется, она что-то спросила, шевельнув губами.

— Желаю тебе всего хорошего... Счастливого пути!

И пошел дальше, ожидая ее оклика и страшась его...

Не окликнула. А когда обернулся, ее уже не было. По замерзшей дорожке гуляла снежная поэмка, замечая след.

\* \* \*

Он вскочил с лежанки. Юрин тревожный голос был продолжением тяжелого, путаного сна.

— Я уже поднял всех, вот читайте, быстрее...

В окна вползал рассвет. Юра жег спички, высвечивая обрывок бумаги, исписанный круглым детским почерком. От Стефки?!

Будто горячей волной обдало всего.

— Когда получили? Где она?..

— Дом на замке... Возможно, эшелон еще на станции, торопитесь... — Одной рукой Андрей уже натягивал сапоги, другой нашарил ремень с пистолетом. — Отдала в полночь Мурзаеву... на посту... Выбежала будто по нужде. После того шум был в хате...

— Какого черта сразу...

— Мурзаев же не знал, думал — так, любовная записка, прочесть постеснялся, а я вышел проверять...

— Взять запасные диски.

— Взяли... Лахно послал за Довбней.

С Лахно столкнулись в дверях, тот, запыхавшись, доложил: старшина в Ровно со вчерашнего дня, должен вернуться.

— Быстро за мной, бегом!

Он мчался по переулку, напрямик — по снежной целине — к платформе, а в глазах все еще мельтешили строчки, беспомощно призывные, прощальные, будто выстукиваемые его собственным, колотящимся сердцем... «Коханный мой... Больше не увидимся... И не думай про меня плохо, одна я, никто не нужен... А Степан — враг, вин утекае за границу. Вечером я вшистко поняла. В Ровне долгая стоянка, передай Довбне...»

Эшелон тронулся, едва они выскочили на широкую поляну перед насыпью, — словно только и ждал их появления. Медленно, едва заметно поплыл перед глазами; в темных проемах теплушек пестро толпились отъезжающие, голубыми вспархивали платочки, им отвечали с перрона. Многоголосый людской гомон, плач, смех, прощальные возгласы...

Андрей лихорадочно всматривался... и вдруг какое-то движение в дверях вагона, кто-то пронзительно вскрикнул, и вслед за тем белый колюбок прыгнул на насыпь и помчался в его сторону. Стефка! Она неслась, точно по воздуху, сливаясь с белизной поля. Он рванулся с места, почему-то вдруг испугавшись за Стефку, но в следующее мгновение испуг исчез и уже ничего не было — ни людей, ни товарняка, ни земли, ни неба, только этот белый комочек, летящий ему навстречу.

Из окна паровоза высунулась голова машиниста. Андрей, выхватив пистолет, пальнул в воздух.

— Стоп! Стопори... Юра... все к вагону, взять его, гада!

— Ложись! — отдался в ушах голос Бабенко.

— Ложись! — Андрей, прыгнув, чтобы свалить Стефку наземь, уберечь, услышал треск выстрела и почувствовал в объятиях теплое, вдруг обмякшее тело. Мгновенный проблеск боли в расширившихся зрачках.

И еще увидел, как, спрыгнув на насыпь, на повороте метнулась к лесу высокая фигура в черной дубленке. Солдаты кинулись вслед.

— Душа вон... Живьем! Сержант! — и не узнал своего голоса, растворившегося в хриплом облачке пара.

Он все еще оцепенело следил за скользящей в перелеске фигурой в дубленке, не выпуская из рук ставшую легкой, как пушинка, Стефку, страшась заглянуть ей в лицо. Словно окаменел среди набежавших людей.

Кто-то крикнул: «Где сани?». «Давай в медпункт». «А, черт, да отпусти же ты». Ее чуть не силком вырвали у него, и последнее, что он наконец заметил, отдавая в чужие руки теплую, родную, точно прикипевшую к ладоням тяжесть, — улыбающиеся, совсем как живые, карие Стефкины глаза.

И, внезапно ослепнув, с kloкочущей у горла ненавистью кинулся Андрей вправо, наперерез, стараясь отсечь беглеца от невидимой за лесом дороги. Впереди, в гущине опушки, треснули выстрелы. Лишь на миг обернулся, услышав за спиной топот, — следом бежал Бабенко с автоматом наперевес. И снова он мчался, увязая в подмерзшем сыпучем насте, со сбившимся дыханием, ощущая какой-то странный посвист в ушах, словно искала в нем выход сдавленная злость. Так бывало в последнем броске, по накрытой огнем нейтралке, когда уже ничего не оставалось, как рвануть напропалую.

В последний раз замаячило и как бы присело черное пятно дубленки в кустах раkitника, но Андрей не свернул вбок, не залег, весь чужой, раскаленный, будто налитый свинцом, — ударь пуля — отлетит, с одной жгучей мыслью — взять живьем... Дорога, главное — дорога, там машины, прыгнет, гад, в кузов попутки, соскочит, потом снова в чашобу — ищи свищи.

Они выскочили к дороге почти одновременно — Николай с Юрой шли от леса, Андрей с Бабенко справа от поселка. Он смотрел на приближавшихся солдат с упавшим сердцем.

— Упустили!

— Не должно быть. Не могли, — сказал Николай, виновато сдвинув шапку на бровь, от взмокших его волос подымался пар. Вид у всех был растерянный.

— Почему не могли? Он же из лесу...

— Нет, лейтенант, — покачал головой Николай, — мы брали с запасом. И возле дороги, в кюветах ни одного следа. Лахно на всякий случай там оставил.

— Что же он, на крыльях улетел, мать вашу так?

— Ну, что уж вы, товарищ лейтенант, — поморщился Юра, — никуда не уйдет теперь. Разобьемся, найдем, надо только сообщить.

— Когда сообщать, тютя?

— А может, он... — начал Бабенко, но Андрей перебил его.

— Машина проходила? Хоть одна?

— Да нет...

— Да или нет?!

— «Виллис» какой-то, только зад и увидели, — сказал Николай. — Что ж он дурак, сам в пасть кидаться? Да он и не мог успеть к машине

— А может, все-таки, — досказал Бабенко, — назад в поселок свернул? По санной тропе?

На опушке показалась медвежья фигура Лахно. Издалека еще развел руками: «Никого...»

Мысль, в начале показавшаяся нелепой, вошла в сознание внезапно, как гвоздь. Андрей уже почти не сомневался, озаренный острой догадкой: «Ну и хитер, хитер, сволочь...»

— На всякий случай мотай к Довбне, — приказал он подошедшему Лахно. — Как вернется, пусть даст знать по дорожным пунктам.

— Ясно.

— Сержант и ты, Бабенко, — прочесать лес у поселка. Должен быть след. Николай со мной... Сойдемся у оврага.

«Не может быть. А что, если... этот бандюга, — Андрей даже мысленно не мог уже произнести имени Степана, — и впрямь спетлял в лесу, а сам от дороги, кустарником бросился к дому. Зачем?» Это было невероятно, дико, но в эти минуты он вдруг вспомнил о внезапно и без следа исчезнувшем Монахе — факт, которому не придал значения и лишь потом, в разговоре с Настей, сообразил, что тот пришлый на хуторах обнаружен не был, значит, прятался неподалеку, не без помощи Степана! Догадка еще не находила прямого объяснения, все больше крепла, и он прибавил шагу.

Спустились к овражку: на небольшом пятачке меж дорогой и кустарником были следы, может быть, случайные, не Степана, потому что дальше все было истоптано, исполосовано санными колями — сани, очевидно, наезжали в перелески за валежником и дровами.

Из лесу к оврагу уже подходили сержант и Бабенко. Юра, помахав рукой, крикнул: «Есть. Давай сюда!» Оба враз бросились по склону, скатившись в самый лог.

— Его! — сказал Бабенко, осторожно плутавший возле следов на пятачке. — Его это подковка на левом сапоге.

На склоне чуть оттаявший снег хранил четкий отпечаток.

— Уверен?

— Сдохнуть мне. Стеклодува подковки. Он всем ставит.

— Вот именно. У кого их нет?

— На одном же сапоге! Степан как-то говорил Ляшко, что одна оторвалась, надо бы подбить, да, видно, не собрался...

— Пошли.

Впереди, на пригорке, в густеющей синеве, четко рисовался дом председателя. Закатно отсвечивала жестяная крыша. Что-то тут не так, трудно было поверить в причастность Митрича к случившемуся, но ворваться в дом к нему — значило поставить последнюю точку.

По истоптанному снегу они снова вышли к дороге, и Андрей, мысленно продолжив ее, представил, как она идет, огибая зарос-

ший кустарником овраг, прямо к околице, мимо дома председателя. Он еще колебался, но не сбавлял шага, хотя на разъезженной дороге уже никаких следов отыскать было невозможно. Шел, будто гончая, принохиваясь к воздуху, к неслышному, тревожащему запаху хуторка, откуда началась его беда.

Над сугробами на крутояре снова открылась алая председательская крыша, над ней в ранних сизых сумерках мирно курился дымок. И снова, на этот раз Николай, первым подымавшийся по тропке с фонариком в руках, застыл, легонько свистнув. Тонкий лучик высветил смазанный след на обочине.

— Полундра, — сказал Николай, — знакомая лапа.

— Он тут мог и раньше ходить.

— Мог, конечно. А почему одна, с разворотом? Оглянулся, видно, на бегу и ступил в сторону.

— Может быть.

С пригорка вдруг скатился запыхавшийся Политкин, оставленный дома за повара.

— Еле нашел вас...

— Присоединяйся. Как там Стефа, не слышал?

— В больнице вроде. Не знаю.

Мороз брал круто, только сейчас Андрей почувствовал, как прихватило остывающие после ходьбы щеки.

В крайнем окошке хаты горел свет, косая сгорбленная тень недвижно ломалась у притоки.

— Обходить тихо. Николай, останься снаружи, остальные со мной. — И, расстегнув кобуру, нащупал липучую от мороза рукоять пистолета.

Рывком распахнув дверь, заметил, как вскинулась сидевшая в углу хозяйка. Что-то необычное было в ее позе, будто плечи давила страшная тяжесть. Тонкие руки ее дрожали, сжимая моток ниток, лоскут вязанья лежал отдельно на табуретке.

— Ох, совсем залякали меня. Заходите, заходите, — словно заведенная, произнесла она, не пошевелившись, лишь крепче сжала моток. На полу у порога таял ошметочек снега, и Андрею словно шепнули на ухо, здесь Степка, недалеко.

— Где сын? Говори! — резко бросил Бабенко. Быстро подошел к хозяйке, встряхнул за плечо.

— А бо ж я...

— Говори, быстро!

Так он, бывало, брал нахрапом пленных немцев, пытавшихся что-то утаить на предварительном «солдатском допросе», не давая им опомниться перед отправкой в штаб. И то, что старуха не кинулась на обидчика с ухватом, даже не всплила, а лишь уронила свою с ровным пробормотом голову, подтвердило догадку — тут звереныш.

При свете керосиновой лампы лицо хозяйки казалось блестящей маской, потом. Андрей понял, что она беззвучно плачет. Он тронул ее за рукав:

— Скажи, мать, все равно ведь отвечать ему придется. Лучше без лишней драки, без смертей, будь разумной...

— Не знаю, бог бачить, не знаю! Оставьте вы меня, оставьте! Вин бросил, и вы бросаете. Я ж сказала — на що тебе Польша, тут твоя колыска, и хата твоя.

— Давно ушел?



— Не... на поезд же, может, час... Уместях со всеми.

Готовность, с какой она отозвалась, и легкая едва уловимая заминка лишь подхлестнули Андрея. Он прощал ей ложь. Все было ясно.

— Советую в последний раз — скажи правду. Обшарим все вокруг, на земле и под землей... Ему же хуже будет.

От него не укрылось, как она вздрогнула и залилась пуще прежнего, беззвучно, с пробившимся стоном.

— Где муж?

— В сельсовете ж.

— Бабенко, быстро за хозяином... — и не закончил фразы — за окнами глухо, сдвоенно, треснули выстрелы. И тут же сорвалась автоматная очередь.

\* \* \*

Николай лежал, уткнувшись головой в угол хаты, сжимая руками автомат. Чуть поодаль темнела соломенная копна, открывавшая дыру погреба — обычный схорон для картофеля, позднему — бурт. С той стороны хаты с автоматом наготове уже стояли Юра и Бабенко.

— В чем дело, Николай?! Коля!

Андрей затряс отяжелевшее тело Николая, запрокинув его голову, и почувствовал, как взмокли ладони: из-под шапки липкой гущиной сплывала кровь.

— Николай, — тихо, на выдохе, повторил Юра. Подбегавший Бабенко поддержал дружка. Тот на миг словно бы очнулся, дернул рукой в сторону бурта.

— Там... они, — вырвалось у него с хрипящим клекотом, — пос... папаха...

— Не Степка?

— Не... ох, — произнес он совсем вятно, с коротким всхлипом, — не повезло...

Юра, отчаянно взвизгнув, точно ему придавили ногу, рванулся к бурту, замахнулся гранатой.

Гулкий взрыв смешался с треском автоматной очереди откуда-то из-под земли. Юра странно крутанулся и, упав, неуклюже и торопливо пополз назад, сел и рассмеялся странным квохчущим смехом, зажав плечо.

— Ранило меня, — сказал он удивленно.

Бабенко, все еще на снегу, держал на коленях голову Николая.

— Все, лейтенант.

— Всем за угол! — приказал Андрей. — Держать борт под прицелом. — Он вырвал из неумелых Юриных рук пакет, с треском рванул обертку. — Не хватало еще всех тут потерять! Кто тебя толкал к яме, щенок чертов?!

— Жалко Николая... Как по сердцу ножом! Но я успел... успел бросить, — бормотал Юра, в котором, жалость, очевидно, уже смыло новым жарким ощущением собственной раны, сделавшей его ужасно разговорчивым. — Тут все ясно, как день, товарищ лейтенант... Они решили уходить. Все, как только вернулся Степка... А не успели. Думали — Николай тут один, иначе зачем этот глупый выстрел, они же теперь в капкане... А я их из автомата.

— Кончай болтать.

— Что?

— Что слышал. Тут больно?

— Нет, почти нет.

— А здесь?

— Ой...

— Пустяки, ключица. Главное — не кисни. Отправим тебя в тыл.

— Зачем?

— Сказано — не болтай! Посмотрят, перевяжут как следует.

Кончив бинтовать, Андрей приказал появившемуся Лахно раздобыть сани и отвезти Николая, — он так и назвал его по имени, как живого — в поселок, и заодно захватить помкомзвода в больницу.

— Мурзаева смени и шли сюда, останешься там за старшего в единственном числе. А Довбня пусть срочно шлет подмогу, надо взять этих зверюг живьем...

— Старшина сказал — прибудет. А как же с председателем?

— Довбня сам сообразит. Твое дело сообщить.

Глядя в темную пасть бурта, Андрей все еще не мог взять в толк, зачем и куда ехал без документов этот оборотень Степка, зачем вернулся именно сюда, если только он в самом деле здесь, и почему в бурте задержались его дружки. Ах да. Он же ехал

проводить. Видимо, до Ровно, а затем вернуться... И сколько их здесь? Неужели и этот, монах? Наверняка.

За спиной слышались голоса, Юра наотрез отказывался ехать.

— В чем дело? — резко обернулся Андрей. Нелепый случай с Николаем камнем давил на сердце, и помкомвзвода со своим мальчишеством, стоившим ему ранения, попросту взбесил его.

— Товарищ лейтенант, я вас прошу... Никуда не поеду, — вскрикнул Юра звенящим от обиды голосом. — Вы же сами сказали — пустяк... Нет же необходимости, свободно стреляю с правой, нас и так мало, товарищ лейтенант.

— Ладно, пусть тебя там посмотрят, если не опасно — вернешься. Поторопись, Лахно, с санями.

— Спасибо! — сказал Юра.

— Всем в укрытие! — приказал Андрей, и почти одновременно просвистели пули, осыпав штукатурку по углу хаты.

«Значит, не взяла их граната, а может, кто-то остался в живых. Странно».

— Не спускать глаз с бурта! Бабенко, диски есть? — Он боялся внезапной вылазки. Сколько их там, под землей, и почему все-таки не взяла граната...

— Два в запасе... Хватит.

Все были взвинчены, Бабенко все повторял: «А может, еще выживет, а, лейтенант, может, просто шок?» Андрей закурил, машинально держа пачку, пока из нее выколупывали сигареты Бабенко и некурящий Политкин, первым обретший свое привычное полусонное состояние, выражавшееся в рассеянной улыбочке.

— Теперь он от нас не уйдет, Степочка, — сказал Бабенко. — Он мне ответит по всем счетам.

— Стрелял-то не он, — отозвался Политкин. — Слышал, что Коля сказал? Нос...

— Ошибиться мог... — Бабенко замер на слове. — А может, и нет. Товарищ лейтенант, может, это он, тот, тот самый плосконосый, шо на свинью нас повел. Гад буду, он, больше некому, я ведь вспомнил потом — с перебитым носом... Тут у них и гнездо, значит.

— Скоро узнаем.

— Надо же...

— Плоское лицо со шрамом и нос вдавлен, как у боксера.

— Точно! А вы откуда...

— Так... — Мысль заработала лихорадочно. Он все больше убеждался в собственной догадке. Значит, у Степана — обычная явка, и пропавший Монах шел именно к нему. Зачем? Что ему нужно здесь, почему все-таки отпустили проводить Степана, а сами остались? Глупо. Никогда бы они не решились на эту детскую забаву с «проводанием», тут должен быть какой-то определенный план. И ведь нашли место, не дураки. Все еще не мог, не разрешал себе даже помыслить о том, что Митрич причастен к этой истории.

Невдалеке закрипели полозья, слышался голос Лахно:

— Товарищ помкомвзвода, пожалуйста в транспорт.

— Давай, — сказал Андрей завожившемуся под окном на бревне помощнику. — Давай, не задерживай.

— До свидания, — сказал Юра, — я скоро вернусь. Уверен...



...Было по-прежнему тихо, в свете луны поблескивали автоматы, мороз пробирал все крепче, казалось, звездное небо, точно огромный ледник, накрыло их здесь. А греться поочередно в хате было рискованно — от этих бандюг всего можно ждать...

А Довбни все не было.

Из бурта снова вылетела огненная пунктирная струя и ушла к оврагу.

Ей ответил дружный треск автоматов, пули уходили в дыру, как в воду, с глухим шлепаньем.

— Беречь патроны! Бабенко, давай к тому углу и гляди в оба.

— Что будем делать, товарищ лейтенант? — спросил Политкин. — Так они нас измором возьмут... И на что надеются?

Андрей уже знал, что делать. До приезда Довбни надо устранить неожиданность, могли в самом деле рвануть из погреба напропалую, иного выхода не было, а темнота им на руку, и патронов у них, видно, до черта.

— Быстро к сараю, — приказал он Политкину, — тащи сено, только осторожно. Сюда, ко мне...

Чуть погода солдат подполз с огромной, перевязанной ремнем оханкой, попросил, запыхавшись, коробок со спичками:

— Дай-ка я, лейтенант... Не командирское дело. Ты у нас все же один.

— Мы все одни.

Он не мог рисковать людьми, а за себя почему-то был спокоен, весь затвердевший от ненависти, вошедшей в него с той минуты, когда он ощутил в руках хрупкое тело в меховой дошке. Остекленевший взгляд Николая нет-нет и всплывал перед глазами, звал отомстить. Нет, он не мог ошибаться, слишком много смертей видел он на коротком своем веку. Хватит! И сейчас уже ни о чем не мог думать, кроме прятанного бандитов черного, покрытого снопами зева на белом снегу; весь напрягся, точно взведенный до предела жесткой пружиной.

И когда он полз к яме с ворохом сена, чувствуя за собой нацеленные стволы автоматов, в душе было пусто и холодно. Снова полоснула огненная очередь, он пригнул голову, уткнулся в снег, улыбаясь мертвой, каменной усмешкой.

Все вобрала эта усмешка — постоянный, ставший привычным риск окопной жизни, тяжкие эти, послевоенные, месяцы скитания по лесам, ночевки в сугробах, тягучий голод и тишь промерзших рассветов. В эту минуту он уже не представлял себе врагов в отдельности — немцев, полицаев, бандеровцев, — все они слились перед ним в одно лицо с кошачьим затаенным взглядом. Мир развалился надвое, четко напоминая об извечной классовой непримиримости.

«Если враг не сдастся...» — давние, слышанные с детства слова. Он никогда не задумывался над их смыслом. Даже немцы во время его разведпоисков, ставших будничными, не вызывали в нем такой отчаянной ненависти. Зло как бы воплощалось в обличье Степана — переменчивом, неуловимо насмешливом, затаившем неистребимую жестокость и потому требовавшем отплаты.

Извечное лживое лицо войны, с ее кровью, насилием, онемевшими на пепелищах детьми, с той же изломанной страхом судьбой Фурманихи, с мертвыми звездами в Колькиных глазах — все было в этой кошачьей морде, стремящейся к власти над людьми.

Мысли спутались...

— Достать бы еще гранаткой, — озабоченно пробормотал Политкин, все-таки поползший следом.

— Пока не надо, выкурим, как крыс. А теперь давай назад...

— Товарищ лейтенант...

— Кому говорят! Страхуйте из-за угла, вдруг выскочат.

— Есть!

Андрей двинулся дальше к бурту, обдирая ладони о мерзлый снег. Дважды залегал под свинцовым дождем, все так же жестко улыбаясь, и снова полз. Потом, вынув зубами спичку, чиркнул о коробок и швырнул охваченную пламенем вязанку в черный провал, тотчас бросил еще одну и еще.

Белый дым повалил из ямы, подымаясь столбом.

— Выходи, Степа! — рявкнул от угла Бабенко, наставив автомат. — Выходи, гад, пока живой!

Дымный столб стал прозрачен, истаявая постепенно. Андрей стал отползать. Схорон по-прежнему чернел открытой пастью. И опять полоснуло огнем, он уткнулся в сугроб, машинально тронул ухо. И по тому, как оно зашлось холодком, понял: зацепило все-таки. Он приложил к мочке комок снега и в два прыжка очутился за хатой.

— Куда вас понесло, надо же... — пробормотал Политкин, протягивая завалявшийся в кармане пакетик. — Задело?

— Крови не было...

— Видно, обожгло. Обойдется.

— Черт те шо, а не драка, — пробубнил Бабенко. — Зарылись в нору.

Андрей и сам не понимал, почему не сработало горящее сено.

А из схорона уже почти беспрестанно хлестали очереди автоматов. Бандиты, видно, не думали сдаваться, непонятно на что надеясь.

Издали с бугра донесся голос вернувшегося помкомвзвода, Андрей различил три приближающиеся фигуры.

Митрича узнал по огромному капелюху. Старик шел, сгорбясь, а следом, чуть выставив автомат, частил Мурзаев — вел председателя, точно под конвоем. Все еще не решаясь заговорить с ним, не зная, как себя вести, Андрей сказал негромко:

— Заходите в дом... Мурзаев, марш к Бабенко, на тот угол.

За Митричем натужно, со скрипом затворилась дверь. Юра торопливо, с лихорадочным придыханием доложил:

— Николай погиб... Довбня...

Андрей невольно снял шапку, и Юра, запнувшись на слове, последовал его примеру.

— Что — Довбня? — наконец спросил Андрей.

— Будет вот-вот, вызвал из района отряд с инструментом... Ну а со мной все в порядке! Вот, гранат прихватил.

Андрей не понял, с каким «инструментом», — минировать, что ли, собрались этот проклятый бурт?

Когда он вошел в хату, хозяйка по-прежнему сидела как из-

ваяние в углу, а супруг — за столом, положив перед собой огромные, покрасневшие от мороза кулаки. Он так и не разделся, лишь капелюх лежал рядом, искрясь обтаявшим снегом. Глаза Митрича застыло смотрели на лампу, в огнистой синеве их была пустота.

Снаружи нет-нет и прорывалась пальба — дробно, с глухой обреченностью огрызалось подземелье, после чего всякий раз Бабенко орал «ультиматум» вперемежку с матерщиной.

— Известно вам, кто там, Иван Митрич? — спросил Андрей, через силу принудив себя к уважительному обращению.

— Кому же быть, кроме моего богоданного... — Разлепив жесткие губы, Митрич скосил налитые тоской глаза на поникшую супругу. — Его автомат, Марина? Тот самый, что был под матрасом, а?

В тягостной тишине голос Митрича звучал с простудным хрипом. Казалось, в эту минуту он не видел, не хотел видеть никого вокруг. Марина при каждом его слове лишь затравленно вбирала в плечи повязанную платком голову.

— Партизаны в свое время автоматы сдали. Все! Я трепотню его насчет любви к оружию не принял. Он же обещал снести к Довбне, при мне завертывал. Или у него в запасе было? — Митрич треснул по столу кулаком, пустой графин отозвался тоненьким звоном. — Чуяло сердце беду, ждало...

Голос его пресекся.

«Вот так, — подумал Андрей с невольной жалостью к Митричу. — Жизнь сурова, и, похоже, старик не ждал себе поблажки. Может быть, поэтому, разорванный между чувством долга и желанием мира в семье, он так переменялся за последнее время. Довбня прав — сник душой. Чего это ему стоило...»

— Рад был, что уматывает он отсюда, — прошептал Митрич с каким-то тихим отчаянием в дрогнувшее лицо жены. — Только бы с глаз долой... Вот. Все мои показания!

— Я не вправе вас допрашивать.

— Это все одно... С кражей все это связано, со свиньей этой? — Он кивнул на окно со смутной пугливой надеждой в оживших глазах.

— Да нет, не только... — сказал Андрей и вдруг заметил мгновенно выступившие на лбу Митрича крупные капли пота. — А собственно, куда он уматывал, если не секрет?

— В Польшу же, со своей любовью. — Голос его был едва слышен. Видимо, он что-то понял, может быть, то самое худшее, чего ждал и во что боялся поверить. Потому и снял перед выборами свою кандидатуру...

— Без документов?

— Во Львове, говорил, оформит, заодно с институтскими бумагами...

Но Митрич уже и сам понимал — все это вранье. Пасынок — темный парень, бывший связной, почему-то попросту решил бежать и споткнулся на первом же шагу. Что-то он натворил, не зря же решил отстреливаться до конца там, в схороне.

Андрей же не узнавал Митрича, казалось, за эти минуты он превратился в глубокого старика, серые лохмы свалывшихся на лбу волос открывали две темные глазные впадины. Они были обращены к жене, в них мешались страданье и ненависть.

— Скоро прибудет старшина, — сказал Андрей, — прошу вас никуда не отлучаться.

Излишне было напоминать. Старик поглядел на него, медленно, как неживой, снова повернулся к жене:

— Дожили... — Грудь его бурно поднялась, зябкими руками он потуже запахнул кожух. — Молчишь?!

Хозяйка вскинула голову, до крови закусив губу, глаза ее стали как две искры. и Андрей ощутил за этим внезапным, полным неистребимой бабьей тоски вызовом давно копившийся бунт, готовый прорваться, положить конец притворству, старой скрытой неприязни, нелюбви, вражде.

— Сына убивают, — процедила она, затрепетав. — Те его запутали, а эти убьют...

— Кто — те? — тихо спросил Митрич, и челюсти его напряглись узлами. — Так он что... там не один?!

Он рывком поднялся, шагнул к жене, та даже не шелохнулась, вся как изваяние, с поднятым к потолку искаженным лицом.

— Говори! Стерва...

Губы ее дрогнули в усмешке.

— Говори!!

— Отста-нь, дурак...

Андрей успел схватить железное, рванувшееся тело Митрича, до ломоты в кистях сжимал его, пока оно не обмякло, забившись в судорогах, и отпустил, уронив на стул. Марина рухнула головой в ладони и зашлась навзрыд.

Некоторое время в горнице стояла тишина, нарушаемая будто сейчас лишь ожившим тиканьем часов, да слышались глухие подвывы хозяйки, перемежавшиеся жарким надсадным шепотом.

— Так, — совсем спокойно сказал Митрич. — Вот оно что... Значит, они... Спанталычили бедняжку сына. Ну не-ет, честного человека не собьешь, видно, рыло в пуху, — он говорил, как в бреду, и все качал седой встрепанной головой. — Узнаем, все узнаем, не может быть!

Пора было уходить...

— Не пойму, почему их ни дым, ни гранаты не взяли? — сказал Андрей, уже подойдя к двери.

Старик не ответил, глядя на жену.

— Тебя спрашивает человек.

Но та лишь захлебнулась в прорвавшемся вновь рыдании. Митрич поднялся, пересилив себя, подошел к ней, тронул за руку.

— Слухай меня, — проговорил он устало, — слухай, Марина. Не сложилось у нас с тобой, может, и моя вина: любил, не мог отступить. Да нелюбимому, видно, бог судья. Но сыну твоему перед людьми отвечать. Его ты любишь, его и спаси. Выйдет добровольно, может, живой останется. Ступай, растолкуй ему, уприси. Вот и лейтенант тебе скажет.

Казалось, она не слышит его, безжизненно глядя в шевелящийся, заросший бородой рот.

— Ступай, — повторил он, — ступай, мать... Я тебя подожду здесь, мне выходить нельзя. Я арестованный.

Только сейчас до нее дошло. Поднялась медленно, на миг за-

стыв перед ним, точно слепая, положила ему руки на плечи; он спокойно снял их и подтолкнул жену к выходу...

— Пальто надень.

Не оглянувшись, лишь поплотней стянув наброшенную шальку, сгорбленно ткнулась в дверь.

\* \* \*

Бабенко, приподняв над сугробом голову, трижды громко повторил:

— Степан, слухай внимательно. К тебе спустится мать, понял? Спускается маты! Одна. Мы останемся на местах, стрелять не будем. Пропусти маты!

В ответ ни звука. Выждав минуту, Андрей притронулся к яблоку вздернутому плечу хозяйки, в темноте он не видел ее лица.

— Можно идти.

Темная ее фигура медленно двинулась к схорону, казалось, она плывет над заснеженной землей на горестных своих материнских крыльях, слепая в своей любви и ненависти, — ни хруста, ни шороха от легких ее шагов. Потом она присела на краю ямы, нащупывая ногами лесенку. Видимо, не найдя опоры, стала сползать вглубь.

— Степа, це я, одна... — донесся ее голос. И утонул в короткой яростной очереди.

Огненная плеть хлестнула по стене хаты. Марина тонко вскрикнула и стала валиться на бок в яму. Андрей, бросившись к бурту, в последний миг успел подхватить ее под руки, и они с Бабенко оттащили ее в сторону. Женщина стонала. Юра уже копошился в своей сумке, отыскивая бинт, потом он помог ей дойти до дверей, и оба скрылись в хате.

Какое-то время все оставшиеся молчали, зорко наблюдая за буртом, изредка выплывающим брызги огня.

— Мать стрелял! — растерянno прошептал Мурзаев, словно только теперь осознав случившееся. В блестящих глазах его застыл ужас.

— Яблоко от яблони... — буркнул Политкин. — Поквитались.

— Мать стрелял...

— Может, он не разобрал, что это она, — предположил Политкин, участливо глядя на Мурзаева. — Вот же зверюга, хуже волка, тот закапканенную лапу сгрызает...

— Нехай бы себя и сгрызли, — сказал Бабенко, — легче бы людям дышалось...

Вдали, осиянный закатной луной, серебряно полыхал лес, и все вокруг — исполосованные теньями искрящиеся буераки, сквозные, припущенные фиолетовым снегом березнячки, золотая петля реки с глазастыми мазанками по берегу, будто подсвеченные волшебным фонарем, — казалось ожившей сказкой. И странно до жути было сознавать, что в этой сказке таятся человечья ненависть и беда, свистят пули, рвутся сердца...

— Лежит, плачет, — послышался голос сержанта. — Разрывная — в ногу, завязал ее в лубок... Хоть бы этот милиционер скорей появился, отвезти ее надо, а сани у него остались.

Юра говорил с частыми придыханиями, будто хмельной, заплетая слова...

Андрей коснулся ладонью его лба.

— Вместе с тобой и отправим. Жар у тебя!

— Немного как будто...

— Зачем возвращался, шут гороховый?

— Он у нас герой, — усмехнулся Политкин. — Раненый на поле брани.

— Ну-ка, Бабенко, — сказал Андрей, переждав очередную вспышку огня из скорона. — Подкинь им связку гранат, пусть немного успокоятся.

\* \* \*

Довбня прибыл не один, с ним было двое в голубых ворсистых шапках и такого же цвета погонах на дубленых полушубках, третий — офицер. Медвежистую поступь Довбни, в тени которого пребывали остальные, Андрей различил издали и тотчас пошел навстречу. Сзади озорно пропищал Политкин:

— Гля, братцы... Салют стражам нашего внутреннего спокойствия!

— Заткнись, — прозвучало из-за спины милиционера.

— Тем же концом с другой стороны.

В ответ засмеялись. Тот, кто смеялся, щуплый, с тремя звездочками на погонах, отвечая на приветствие, сжал ладонь Андрея маленькой крепкой клешней, и пока лейтенант объяснял Довбне обстановку, слушал, слегка отвернув лицо, точно был глуховат.

— Монах, — заключил старший лейтенант, — начальник прав, больше никто. Месяц назад перешел границу и как в воду канул. Довбня крикнул досадливо.

— Как я его упустил, ведь было ж на уме. И примета известная — сломанный нос. Не прощу себе...

Старший лейтенант отошел к своим и о чем-то быстро заговорил, только сейчас заметил Андрей сложенные у ног солдат зачехленные лопаты, лом и железный ящик на защелках.

— Взрывать, что ли, старший лейтенант?

— Не хотелось бы. Но если Монах, иного выхода нет, живым не выйдет.

— Кто он такой все-таки?

Довбня чуть покосился в сторону возившихся с инструментом солдат, сказал негромко:

— Был тут в войну бандеровский резидент, стравливал нас с поляками, всех скопом продавал немцам, а немцев — союзникам. Если это он, тогда все ясно и со Степой. Вот оно как, елки-веники.

— Секрет?

— Какой там секрет... Тут корешки глубоко тянутся. Разгром отряда связан с предательством. Кто выдал — не знали, а кличка была известна — Волчонок. За ним потом сами немцы охотились... После нашего с тобой разговора запрос я все-таки сделал, ну и обнаружилась ниточка...

— Немцы почему охотились?

— Говорю же, двойная игра, раз он связан был с Монахом, а тот с американцами...

Кажется, все становилось на свои места... Луна по-прежнему

заливала опаловым светом скованную снегами землю, но теперь она уже не казалась сказочной, от нее веяло смертным холодом.

Стефа в больнице, этот Волчонок здесь, прощается с жизнью, знала она о нем хоть самую малость, догадывалась? Да нет, откуда же? Разве он рискнул бы открыться? И все же замутился в душе осадок, в нем таилась боль и отчужденность. Он не сразу расслышал, о чем его спрашивал Довбня, спохватившись, объяснил.

— Да, жгли сено. Как они там не задохнулись?

— Сеном их не возьмешь.

— Схорон с боковым лазом. Наверняка... — послышался за спиной голос старшего лейтенанта, державшего под мышкой белый сверток. Солдаты с лопатами стояли поодаль наготове. — Митрич мог и не знать об этом. — И то, что он назвал председателем, хотя и вскользь, но привычно — по отчеству, невольно облегчило душу — жаль было старика. — Где-то есть выход, ищем.

Искать пришлось недолго: среди заснеженных кустов, в чуть приметно обтаявшей лунке, темнел околыш жестяной трубы. Уже светало, но ее можно было обнаружить, лишь внимательно приглядевшись. Теперь он понял, что значит боковой лаз. Помещение с отводной комнатой, вот почему их нельзя было взять ни огнем, ни гранатой. Лаз перекрыт, сдвинь засов и пали в отдушину.

— Монах! Говорит Сахно. Узнаешь голос? — закричал в трубу старший лейтенант. — Сдавайся добровольно, гарантирую справедливый суд. — Он помолчал, ожидая ответа. Достав из-за пазухи блокнот, что-то черкнул в нем и, привязав вырванный листок к мерзлому комку земли, бросил в трубу. — Лови бумагу, на размышление четверть часа, после чего буду взрывать.

Эту четверть часа, похожую на вечность, они провели за углом хаты. Старший лейтенант Сахно молчал, сосредоточенно дымя самокруткой.

— Притих, Монашек, — подначивал Довбня.

— Гад, — отозвался Сахно. — Редкой силы гад. Сотни жизней на его совести, — старший лейтенант круто выругался. — Дважды из рук уходил, когда мы его партизанским судом приговаривали, помнишь? И метки мне оставил — ухо контузил да два пальца отшиб. — Он говорил тихо, словно про себя... — Сорок хат пожег в отместку, с детьми, с женщинами только потому, что хлебом-солью встретили в тридцать девятом Красную Армию. А чего он хотел, чего добивался от людей, которых ни в грош не ставил? Садист, самостийник... Ну и его...

Сахно закашлялся, подавившись дымом.

— ...как бешеного пса! Еще нянчись с ним, суды законные — со зверьми...

И уже спокойней добавил:

— А все-таки зачем он здесь, а, Данилыч? — спросил он Довбню. — Если Степка — Волчонок, стакнулись они в последний раз в сентябре, когда казну свою увозили.

— Казна, так их перетак, кровь людская. А все ж таки обхитрил он тогда тебя, — сказал Довбня. — Засаду прорывал налегке, казна, видать, другим путем пошла.

— То-то и оно, в толк не возьму, каким именно... Да, а Степу,

выходит, легально переправить смикитили. На постоянное жительство. Мало тут насвинячили, теперь у соседей им резиденты понадобились. Это уж по указке новых хозяев.

— Что значит — легально? — переспросил Андрей, обернувшись к Довбне. — Разве он не провожать ее поехал?

— Как же. По документам брата. Шляпа я с ушами! — Он мотнул головой. — А все ж таки, зачем тут Монах застрял?

— Узнаем, — сказал старший лейтенант. — Все узнаем. Дай время.

— Пыльная у вас работенка, — заметил Андрей с невольным уважением.

Старший лейтенант не ответил, сплюнув окурок, прикончил его каблуком.

— Пора!

\* \* \*

Медленно наступал рассвет. Андрею, стоявшему в оцеплении вместе с солдатами, странно было смотреть на мирные дымки над хатами, где люди в привычной суете встречали новый день.

И эти будничные дымки, утонувший вдаль, в морозном тумане поселок, где ждала, должно быть, надеялась на свое счастье вчера еще неведомая ему девчонка, белый снег, черные фигуры солдат и сам он — свидетель конца чужой, давно развернувшейся драмы — все вдруг показалось дурной, нелепой придумкой, точно он взглянул со стороны на мир, на себя, прошедшего сквозь сто смертей, все еще живого, невредимого... Что несет ему этот день, засиявший на кончиках сосен? Не все ли равно... Подавленность, почти не ощущаемая, размытая чужой бедой, схватила его изнутри, встряхнула: что-то там, в глубине души внезапно обрушилось, он никак не мог понять, что с ним творится, и, лишь до боли стиснув челюсти, тупо смотрел на старшего лейтенанта, на его искаленную руку, сжимавшую луковичу часов.

— Монах! — крикнул Сахно. — Добром прошу — выходи.

И снова полоснуло огнем из схорона.

Солдат с ручником, не дрогнув, резанул в яму из пулемета и отскочил в сторону.

— Лейтенант, — окликнул Сахно, — коге-нибудь в подмогу, пусть возьмут пулемет.

Надо было подстраховать двоих, с лопатами. Бабенко и Мурзаев вывернулись было из-за бугра, но он скомандовал им — назад! Юры почему-то не различил среди них и тотчас забыл о нем, шагнул к яме. Все произошло как бы помимо его воли, будто некая сила, испытывая судьбу, подхватила его, воткнув в снег у черневшего лаза. В конце концов, кому-то надо было, а он стоял ближе всех, только и всего.

— Начинай, — сказал Сахно.

Двое в голубых шапках, один ломом, другой лопатой, дружно ударили с боков по мерзлой крыше бурта. Андрей до немоты в пальцах нажал на крючок, вгоняя одну очередь за другой в огрызавшуюся ответным огнем горловину. Тело напряглось, стало чужим, жарким, потеряло вес. И эти мгновения, длившиеся бесконечно, пока солдаты долбили железный грунт, он все вре-



зал свинец в жерло схорона, сам открытый пулям врага. Слепая дуэль отдавалась во всем его существе, ожидавшем легкого конца, потом исчезли все ощущения, кроме стальной дрожи в ладонях.

— Готово!

Не сговариваясь, все отскочили в сторону, и он шагнул не спеша вслед за ними, не сумев разглядеть в проеме рухнувшей крыши ничего, кроме темной глубины, дохнувшей картофельной сыростью. И еще подумал, что лезть туда будет страшно.

Сахно что-то сказал одному из солдат, и тот, метнувшись за дом, вернулся с толовым ящиком — в крышку был ввинчен запал со шнуром.

С разомлевшим от домашнего тепла и бессонницы лицом появился Довбня.

— Монах! — голос старшего лейтенанта стеклянно рассыпался в стылой синеве утра. — Последний раз предлагаю — выходи!

Все, кто лежал за бугром, скрывался за хатой, невольно приблизились к яме. Выбор Сахно мог пасть на любого, сейчас он был здесь полновластным хозяином. Он ждал.

От оврага задул резкий, сжигающий щеки ветер. Секунда, другая, и в этой тугой, звенящей от ветра тишине, где-то под землей глухо, с короткими промежутками прозвучали выстрелы.

Один... второй... третий...

— Значит, трое их было, — вздохнул Сахно и опустил наземь уже ненужный ящик.

Андрей понял, в чем дело, догадка мельнула смутно, кольнув отупевшее от холода и переживаний сознание: «Салют смертников».

— Собаки... — выдохнул Сахно. — Ох же собаки. Сволочи.

Некоторое время все молчали.

— Кто полезет? — спросил Довбня, беря на себя инициативу, и быстро оглядел столпившихся возле ямы. Теперь он вступил в свои права. — Надо их оттуда выволочь.

— Можно? — На спекшемся от мороза личике Бабенко двумя угольками горели глаза. Никто из глядевших в провал бурта, должно быть, не был до конца уверен, что все кончено и бандиты не приготовили под занавес подарочек, от них можно было ждать всего.

— Ну как? — обернулся Довбня к Андрею.

— Старшина, — умоляюще произнес Бабенко. — Я ж самый маленький, порхну, как горобец, в дырку...

— Кто первый обнаружил их? — спросил Довбня.

— Того уж нет, — сказал Бабенко. — Николай, дружок мой.

— Давай, — кивнул Андрей.

Солдаты с автоматами снова изготовились у провала, Андрей понял, что его опасения не напрасны, в случае беды — вряд ли Бабенко что-либо поможет. Довбня между тем обвязал Бабенко веревкой, спросил:

— Удержит?

Тот, затягивая под грудью узел, пошутил:

— По крайней мере, не утону, — и улыбнулся криво.

Он сел на край провала, спустив ноги, мгновение помешкал.

— С минами дело имел? — спросил Сахно.  
— Приходилось.  
— Уткнешься в лаз, будь осторожен.  
— Ага.  
— Толкни прикладом заслонку — сам в сторону.  
— Ага.  
— С богом.  
— Ну, хлопцы, не поминай лихом, — засмеялся Бабенко, — сейчас реабилитируюсь... — И исчез в черной глубине.  
— Чуть что — дергай конец, — крикнул вдогонку Довбня.  
Прошла минута, другая... С шорохом уползала веревка.  
Гуще пошел снег, и отступил морозец. Напряжение росло, веревка все еще шевелилась на снегу, точно ослепшая змея, — влево, вправо. Откуда-то на бугорок слетел воробей, чирикнул и как шальной метнулся под стреху.

Потом донесся приглушенный глубью, прерывающийся от волнения голос Бабенко.

— Порядок!

— Давай!

— Тащите!

Какая-то громоздкая штука вынырнула на снег тупым, окованным, словно угол гроба, углом, наконец появилась целиком. Потом стало ясно, что это сундук, стянутый медными обручами, к нему наспех солдатским ремнем был приторочен брезентовый куль, от рывка он развернулся, и на снег высыпалась кипа бумаг, клочки каких-то отпечатанных инструкций с иностранными грифами, искорененная пишущая машинка, куча порванных тридцаток, искромсанные сапоги и куски ремней — видно, бандиты в слепой ярости уничтожали все подряд — только бы не осталось людям. Сахно приказал всем залечь в укрытия, сам, присев над огромным, как бочка, сундуком, внимательно, не касаясь руками, оглядел его, потом приказал кому-то из солдат:

— Лом и кусачки!

Снова оставшись один, почти незаметно сдвинул в сторону уголок над замочной скважиной, что-то пощупал мизинцем, потянул. Легко щелкнули кусачки. Только после этого подсунул под крышку лом.

И все увидели в его руках отливающий чернью цилиндр с рогулкой... Мина?! Он осторожно отнес ее подальше, в сугроб, вернулся и, переведя дыхание, снял с поверхности сундука войлочную прокладку — сухое лицо его вытянулось...

— Вот она, казна бандитская, братцы, — произнес он.

— За кордон готовились, не иначе, — сказал Довбня. — Видно, поистратились там господа гитлерчуки... А прятали надежно...

Солдаты сгрудились у тесно сложенных в отсеках вещмешков. Сахно развязал один, другой... В сером рассветном сумраке тускло отливало желтизной монетное золото, игольчато сияло разноцветье камней — грудой, в ожерельях, вперемежку с какими-то развороченными, тускло блестящими штуками. Сахно поддел палочкой одну из них, и Андрея слегка замутило — это была золотая челюсть.

— Цена человеческих жизней... — Сахно прикрыл сундук. Отвязав бечеву, швырнул конец в яму.

— Выволакивай их, Бабенко!



\* \* \*

Трое лежали под брезентом, раскинув босые ноги. Андрей старался не смотреть в их сторону. От усталости и нервного напряжения, пережитого за ночь, в глазах стоял туман, и ближний лес, тронутый дымкой рассвета, казалось, плыл под низким взволнованным небом.

— Мину в овраг, взорвать. И домой, — слышался за спиной голос Сахно. — Тебе, Данилыч, пришлю свежий наряд, надо прочесать лес и хутора, где-то их дожидался транспорт. Наверняка... А сейчас надо опять сани доставать...

Андрей обернулся. Сахно протянул ему свою руку, сказал, вздохнув почему-то:

— О ваших действиях немедленно доложу по инстанции. Спасибо за помощь, — и подмигнул Бабенко, — будь здоров, горбец...

— Не забудь, лейтенант, в семь на выборы, — обронил Довбня. — Отложили на час.

Кто-то тронул Андрея за рукав, он все так же отрешенно взглянул через плечо.

— Помкомвзвода наш, плох, — доложил Политкин.

Юра сидел за хатой, прислонясь к стене и закрыв глаза.

— Честно — ты был в больнице? — спросил, подходя, Андрей.

Сержант разлепил синие губы.

— Ну... немного побыл.

— И удрал? Ясно.

Он попросил Довбню взять с собой помкомвзвода, как только подадут сани, и, кивнув своим, тронулся по тропке к поселку. Шел не спеша, ощущая в ногах странную тяжесть, и, как всегда, когда просыпалась старая контузия, позванивало в ушах...

\* \* \*

Солдаты отправились к клубу, а он заглянул в белеющее на отшибе здание больнички. Дежурный врач был где-то в палатах: в дверях выросла толстая нянька, наотрез отказавшись впускать в такую рань.

— Да к кому вам? — допытывалась она, с некоторой подозрительностью вглядываясь в него, и Андрей подумал, что выглядит, наверное, не лучшим образом и надо бы пойти домой, умыться и хотя бы сменить примерзшие к ногам портянки.

Он не ответил няньке, лишь попросил:

— Ночью у вас никто... ничего не случилось?

— Идись, — отшатнулась нянька, — идись отсюда!

Дома в исколodaвшей за ночь комнате он стал переобуваться, стянул сапог и, откинувшись навзничь, точно провалился в яму.

Очнулся он, кажется, тотчас от грохнувшего невдалеке взрыва и долго ничего не мог понять... Откуда-то с улицы доносились людской гомон, бабьи вскрики. Он подскочил к заледеневшему с краев, в мятущихся желтых бликах окну. И замер. Нанскось, из осевших развалин клуба рвались языки пламени, черные рукава дыма сносило к полям. Изредка из огненного чадища, рассыпая искры, беззвучно выстреливали головешки. Толпа людей сучилась в стороне.

Когда он подбежал к пожарищу, то увидел своих солдат, Довбню и предзавкома, о чем-то сердито споривших.

— Где пожарники? — крикнул он издали.

Довбня только махнул рукой.

— Гаденыши. Видно, со вчерашнего дня механизм заложили.

«Точный расчет, — мелькнула мысль, — с хорошим запасом. Сейчас бы они уже к границе добрались».

Откуда-то вывернулась черноглазая тетка Гапа, нарядно одетая, в цветастой шали, обвивавшей плечи колушка, почти весело запричитала:

— Проморгала милиция! Ще добре, шо я в шесть не открыла, капут бы людям.

Какой-то укутанный одеялом малыш, с мамкиных рук удивленно таращившийся на огонь, вдруг тонко, голосисто заревел.

Андрей поежился, представив себе взрыв в переполненном избирательном участке. Его терзала смутная вина — надо было все предусмотреть, рядовой же случай. Хотя разве все их пакости разгадаешь?! Стоявший рядом Довбня молчал.

Огонь взял силу, с треском пробиваясь сквозь проломанную кровлю.

Народ уже окружил предзавкома, две девчонки с тетрадками

списков испуганно жались друг к дружке, заводские покачивали головами, потягивая сигарки, потом все слегка отпрянули от пахнувшего жара: крыша рухнула, зашипели головешки на тающем снегу.

— Нет худа без добра, — сказал Копыто. — Клуб не клуб, бывшая кофейня, старье. Все равно новый строить. Теперь потопляться.

— Помолчал бы! — огрызнулся Довбня.

В толпе мужской бас обронил зло:

— Надо же, в людей подгадывали.

— Вот они морды свои и выказали, — громко подхватила Гапа. — Всю войну про демократию толковали. Вот ихняя демократия, дезертиры вонючие.

Толпа будто очнулась, и посыпалось со всех сторон — хлестко, с накипевшей лютостью.

— Люди воевали, а они за спинами народ попугивали.

— Ничего, сами по себе поминки справили, уберег бог людей.

— Завком! — вдруг звонко закричала все та же тетка Гапа и обернулась к толпе. — Товарищи поселяне. А шо нам клуб? Клуб дом, да и то трухлявый. Не в клубе дело, а в нас самих. Проголосуем на улице, назло врагам! Грицко, чего гармошка молвить, давай музыку. Девчата, тащите тумбочку, урну зробим, а бюллетени, вот они, у менэ!

Толпа всколыхнулась одобрительным гулом.

— Давай, Гриша, вжарь, щоб не холодно було.

— И стол заодно. Прямо на тротуары поставим. Слышь, милиционер, зараз мы тебя не отпустим, будешь нас охранять, и ты, лейтенант, где твои хлопцы? А ну, танцуйте!

Андрей, неожиданно подхваченный какой-то жарко дышавшей молодежи, все еще видел согбенную старушечью фигуру, поспешавшую по дороге к хутору. После веселья предстояли еще похороны. Не повезло Кольке...

Чуть погода на улице разливалось уже целых три гармошки, забористая полька гремела в морозном солнечном воздухе, молодежь плясала вокруг кострища, сбоку вытапывали старики.

Чей-то визгливый бабий голос вперебой гармошке охально выкрикивал:

— Ой ты, кумэ Сэменэ,

Иди сядь коло менэ,

Не дывись, шо я стара...

Притащили гигантский самовар, вдоль тротуара развернулась с лотками поселковая буфетчица, и мужики, уже приложившись по случаю праздника, ходили весело. А к урнам все тянулась торжественная очередь с белыми бумажками в руках.

«Все, — подумал Андрей с замиранием, — пора в больниццу». И оглянулся на шум мотора. Рядом остановился «виллис» подполковника Сердечкина. А вот и он сам лихо выпрыгнул на снег. Издали еще протянул руку, подойдя, взял Андрея за локоть, и они не спеша пошли к баракам. Надо было доложить обо всем случившемся. Он было открыл рот, но майор, не дослушав, хлопнул его по плечу:

— Все знаю, получил телефонограмму. А этого следовало ждать. — Он кивнул на пожарище. — Ладно, все обошлось.

— Николай погиб.

Подполковник остановился и некоторое время молчал, опустив голову.

— Да, брат, вот тебе — война кончилась.

...Они вошли к Андрею. Гость не раздеваясь присел на табурет. Темное, в белых лучах морщин, скуластое лицо Сердечкина, казалось, хранило легкую грусть, он поднял глаза, в них словно бы промелькнула тень неловкости.

— Ну, рад тебе сообщить... Командир полка вмешался... Словом, не дали тебя прокурорам. — Улыбка тронула губы подполковника, но ни эта улыбка, ни бодрый голос почему-то не обрадовали Андрея, что-то обломилось в нем за последние сутки, затвердела душа. Томящее, тревожное чувство не проходило. — Я уезжаю на родной завод. Аня пока на хуторке, у приятеля на молочке.

«Вот оно. Или еще не все?»

— А полк получил задание — рейд по следам Ковпака, до Карпат. Очистить землю от этой нечисти...

Он уже сообразил, в чем дело, машинально кивал.

— Мне надо в больницу, к Стефе.

— Конечно, само собой... Я тебя не задерживаю.

Вряд ли он знал о ранении Стефы. А может, и знал. А за окном разливались гармоники, трескучие девчоночьи голоса частили наперебой.

— Ну, попрощаемся.

Они обнялись

— Значит, к вечеру и выезжай прямо в Ровно, там на въезде будет наш регулировщик, покажет штаб. Получишь приказ.

— Ясно...

Они еще немного посидели молча, без слов. Теперь, когда все было позади, к Андрею вернулось знакомое, мучившее все последние дни ощущение приутихшей боли. Он не мог простить Стефке безволия, какой-то овечьей покорности судьбе, обернувшейся бедой. Вот тебе и урок...

«А тебе, — точно жалом кольнуло изнутри. Вонзилось, уже без поблажки. — Степин оппонент, аналитик доморощенный! Сам-то не виноват в том, что произошло? Ах ты, мыслящая натура, великодушный прохиндей».

Он почувствовал, как взялись жаром обдутые ночным морозом щеки.

«Как же ты не разглядел за этим открытым свободомыслием врага?» — «Но ведь он был искренен, вот что сбило с толку». — «Он попросту был слеп в своих откровениях! Ах ты, боже мой, он искал истину, этот волчонок, искал правду, но если цена ей — кровь и страдания, разве не стоит за нею обычный банальный интерес, неосознанная корысть, инстинкт собственника, зверя?» — «Но тогда, что же тогда?» — «Нечего лезть в высокие материи, философствовать, а надо драться — отрешенно, насмерть. И отвечать кровью за кровь? И никуда от этого не уйдешь. Так просто...»

---



Дмитрий БИЛЕНКИН

# ВЕЧНЫЙ СВЕТ

*Фантастический рассказ*

**С**начала возникла точка.

Система корабельного зрения мгновенно напряглась, как человеческий взгляд при попытке разглядеть далекий и смутный предмет. В ту же миллисекунду Киб зажег над пультом стандартный сигнал.

Но обсервационная была пуста. Киб это знал. Собственно, он существовал еще и затем, чтобы людям не надо было круглосуточно следить за Пространством и беспокоиться

при появлении вдали обычных, достойных лишь автоматической регистрации объектов. Похоже, сейчас был тот самый случай. Неизвестный объект шел по касательной на пределе видимости и явно ничем не грозил звездолету. В общем-то, Киб уже понял, что это такое, и продолжал напряженно вглядываться лишь потому, что человек наделил его острой любознательностью.

Текли минуты, каждая из которых перемещала корабль на миллионы километров в Пространстве.

Все шло своим чередом.

Не совсем.

Конкин, что с ним редко бывало, проснулся раньше времени. Впрочем, не это его удивило, а ясное, четкое и недвусмысленное, как звонок, ощущение, что он обязан проснуться.

Откуда оно взялось? С минуту Конкин неподвижно лежал с открытыми глазами. В каюте было темно, тихо, уютно — Киб берег сон так же надежно, как и корабль. Быть может, что-то скрывалось в сновидении? Снилось какая-то авантюрная чепуха, будто он должен проникнуть в некий замок, что-то разведать в нем, и все шло прекрасно, только уже при выходе из замка охранник вдруг изумленно уставился на карманы его штанов.

Конкин тоже невольно опустил взгляд и удивился не менее: из его брючных карманов нагло торчали столовые ложки!

— Что это у вас? — подозрительно спросил крепколицый страж.

— А это, видите ли, хобби у меня такое... — отвечал Конкин.

Столь нелепый ответ почему-то развеселил обоих. Тугое лицо охранника расплылось в понимающей улыбке, а Конкин почувствовал себя беззаботным зрителем приключенческой, с самим собой в главной роли, комедии. Он весело шагнул к воротам, но вместо охранника там уже стоял худой и грустный Дон-Кихот в латах.

Это обычное во сне превращение лишь смутно удивило Конкина; однако ему стало неловко за торчащие из кармана ложки. Но Дон-Кихот смотрел дружелюбно, печальный взгляд карих глаз идадьго словно был освещен изнутри мягким закатным светом, и у Конкина сразу потеплело в груди.

— Хорошо, что вы здесь, — сказал он удовлетворенно.

— Где мне еще быть, как не в памяти? — спокойно проговорил Дон-Кихот, и Конкина поразила понятная лишь в сновидении мудрость такого ответа.

И тут что-то заставило его проснуться.

Что?

Не составило труда сообразить, откуда в сновидении взялся Дон-Кихот и в чем смысл его ответа. То была всего лишь фантастическая проекция недавних слов Зеленина, который обожал парадоксы. «Знаешь, что странно? — сказал он тогда Конкину. — В старину так много писали о «чудесах техники» и не замечали куда больших чудес искусства». — «Каких именно?» — полюбопытствовал Конкин. «Да самых обычных. Кого





Рисунки Г. ФИЛИППОВСКОГО

ты, например, лучше знаешь — Гамлета или Шекспира, Дон-Кихота или Сервантеса, Робинзона Крузо или Дефо? Кого мы лучше представляем, кто для нас в этом смысле реальной — образ или его создатель?» — «Не вижу в этом парадокса». — «А я вижу. Что мы знаем о тысячах и тысячах современников того же Гамлета, которые действительно жили, любили, страдали, боролись? Ничего! Будто их не было вовсе. А вот Гамлет для нас существует. Есть в этом какая-то несправедливость...»

Выходит, эти слова затронули что-то глубокое, раз они всплыли во сне. Но при чем здесь четкий нетерпеливый сигнал «проснись!»?

Разгадка, сколько Конкин ни думал, ускользала. Он знал, что в таких случаях надо сделать. Забыть, переключиться! Тогда ответ будет искать само подсознание и, возможно, найдет.

А начать следует с обычной разминки, сегодня она особенно кстати.

Сообразив, кто именно сейчас бодрствует, Конкин ткнул кнопку вызова.

— Приятного пробуждения, брат моллюск! — тотчас плеснулся из динамика веселый голос Зеленина.

— Старо, — ответил Конкин, одеваясь. — Было.

— Где? Когда? — встрепнулся голос, и Конкин живо представил, как над изумленным глазом приятеля косо взметнулась бровь, как дрогнула рука с неизменно зажатым в ней миниатюрным компьютером.

— Впервые образ корабля-скорлупы и, следовательно, людей-моллюсков возник в одном фантастическом рассказе двадцатого века, — отчеканил Конкин. — Было. Старо. Лежит на поверхности, как всякая явная ассоциация.

— Эрудит несчастный... — сокрушенно вздохнул голос. — Ладно, твой ход.

— Слово «Конкин». Неявные ассоциации, пожалуйста.

— Двугорбый верблюд! — мгновенно выпалил голос.

— Кон-кин, — медленно повторил Конкин. — Пауза посередине, перегиб, верблюд. Лежит на поверхности.

— Да, пожалуй, — нехотя согласился Зеленин. — Тогда уют!

— Как?

— А-а! Не видишь ассоциации?

— Нет...

— Конкин — конка... Улавливаешь?

— Не припомню такого слова...

— Значит, есть эрудиты получше тебя. Кроме Киб, само собой... Конка — это такой древний, на лошадях, влекомый по рельсам транспорт. Нечто архаичное, движимое мускульными усилиями, неповоротливое. Как уют.

— Здорово! — восхитился Конкин. — Второе ассоциативное производное, это не банально...

— Тем и живем, — с гордостью сказал Зеленин и отключился.

Конкин покачал головой. Подобная и вроде бы несерьезная гимнастика ума была для него, как и для всех, в той же мере развлечением, в какой и жесткой, привычной, как дыхание, не-

обходимостью, ибо давно прошли те времена, когда избавление кораблей от ракушек почиталось проблемой, но мало кто задумывался, сколь опасна в быстроизменчивом мире прогресса короста въевшихся стереотипов.

Однако тайная надежда, что эта зарядка, раскачав подсознание, заставит всплыть причину внезапного пробуждения, не оправдалась.

«Забыть, забыть!» — напомнил себе Конкин.

Мысли Конкина, когда он переступил порог обсервационной, были — так ему, во всяком случае, казалось — обращены исключительно на дело.

Сигнал о появлении в зоне видимости неизвестного тела он заметил тотчас. Быстро взгляделся в роспись цифр на табло. Из-за колоссальной удаленности объекта их точность оставляла желать лучшего, и все же сомневаться не приходилось: обыкновенный метеорит! Правда, крупный и, очевидно, железный. Так отражать радарные импульсы мог бы, предположим, чугунный утюг.

«Почему утюг? — удивился шальному сравнению Конкин. — Ах да! Зеленинская ассоциация застряла...»

Он улыбнулся. В Пространстве можно было, чего доброго, наткнуться на выход в иное измерение, на причинно-следственную флюктуацию, но только не на утюг. Зато метеорит был в нем такой же банальностью, как змея в лесу. Конкин слегка скосил взгляд. Ну конечно! Как ни далеко находилось тело от корабля, как ни расходились их траектории, Киб держал его в прицеле аннигилятора. На всякий случай... Такие вопросы безопасности Киб решал сам. И мигом занимал оборонительную позицию.

«Как питекантроп при малейшем шорохе. Еще бы! Мы тоже находимся в довольно враждебной среде...»

— Что за объект? — на всякий случай спросил Конкин.

— Метеорит класса Z-2, достоверность определения девяносто пять процентов. — Голос Киба, как всегда, звучал так, словно невидимый собеседник находился рядом. — Параметры...

— А вдруг это змея? — неожиданно для себя пошутил Конкин и тут же отметил, что это скорей всего дань тому, утреннему...

— Со змеей объект не коррелируется ни по одному параметру, — прозвучал бесстрастный ответ.

Нет, юмором Киб не обладал. Зато он знал, что такое «змея». И что такое «конка», он тоже наверняка знал. Чего только не знала, не могла, не умела эта новая модель искусственного интеллекта! Пожалуй, ее способности не были до конца ясны самим создателям, поскольку эта машина обладала чем-то вроде подсознания.

Вздохнув, Конкин вместо того, чтобы забыть о метеорите и заняться текущей работой, спросил:

— Через какое время ты потеряешь метеорит из виду?

— Через семнадцать минут сорок девять секунд, — ответил Киб.

— Ничего нового о нем, конечно, узнать не удастся...

— Только в случае изменения курса. Будет такой приказ? Еще чего! Изменить курс звездолета ради какого-то метеорита — все равно, что остановить поезд из-за придорожного цветочка. А жаль. Как хорошо сейчас было бы прогуляться по шершавой, в матовых вздутиях поверхности космического странника, нарушив однообразие будней, покружиться над изломами темных скал, рукой в перчатке тронуть незнакомую твердь...

У Конкина даже ноги заныли от томительного и сладкого предвкушения прогулки.

«Сведи к необходимости  
всю жизнь —  
И человек сравнивается  
с животным», —

внезапно подумал он словами Шекспира.

Что с ним такое сегодня?

— Зеленин...

— Да? — отозвался голос.

— Не хочешь ли ты прогуляться по утюгу? Он в пределах видимости.

— По утю... А, понял! Очередной метеорит, что ли?

— Размерами скорей даже астероид. Я вот что подумал: если можно изменить место заложения очередного вакуум-полигона, то...

— Исключено, — голос друга сразу обрел жесткость. — Здесь мы не получим нужных результатов.

— Нет так нет. Жаль.

— Мне тоже, — голос смягчился. — Вот если ты обнаружишь в Пространстве, допустим, консервную банку...

Конкин с сожалением отключил связь. Железный метеорит. Железный график. Железные люди. Все кругом из сплошного железа.

— Интересно, можно ли, хотя бы теоретически, натолкнуться в Пространстве на консервную банку... — пробормотал Конкин, придвигая к себе грудку листков с незаконченными расчетами поведения фридмонов в магнитополяризованном вакууме.

— Докладываю, — внезапно проговорил Киб. — Обнаруженное в Пространстве тело может оказаться аналогом консервной банки...

— Что-о?!

— ...С вероятностью ноль-три.

Спятил!!! Секунду-другую Конкин ошарашенно соображал, кто именно спятил — он или Киб.

— Что?.. — переспросил он наконец слабым шепотом. — Откуда... откуда такая вероятность?

— Значение реальной, выявленной гравилоратором массы меньше той, которую при данном объеме мог бы иметь метеорит любого типа, что с вероятностью ноль-три, в данный момент наблюдения и указывает на пустотелую природу объекта, следовательно, на его сходство с любой металлической емкостью.

— Не вижу. — У Конкина пересохло горло, он быстро обжег взглядом хорошо знакомый ряд цифр. — Не вижу расхождения!..

— Показываю.

Мелькнула серия преобразований, и теперь Конкин понял, в чем дело. Расхождение масс того значения, которое ей давал гравитокатор, и вычисленной по объему предполагаемой плотности вещества было минимальным, на грани погрешности. В сущности, таким расхождением в столь неопределенных условиях наблюдения можно было и пренебречь.

Киб этого не сделал. Почему?

Да потому что любознательность — тоже страсть, а она осталась неудовлетворенной! Киб желал сближения с метеоритом не менее Конкина, вот и все.

Но если объект действительно пустотелый, то...

Нет в Пространстве и быть не может огромной консервной банки. Зато в нем может оказаться чужой корабль, тело, в физическом смысле весьма схожее с жестянкой. Правда, нужен человеческий юмор, чтобы прибегнуть к такому сравнению, а Киб юмором не обладал.

— Вероятность ноль-три, — хмурясь от внезапной мысли, проговорил Конкин. — Ты мог ею пренебречь...

— Мне был задан вопрос.

— Риторический!

— Сожалею, если ошибся. Параметры риторической интонации не всегда отличимы от параметров прямого вопроса.

Верно, подумал Конкин. И все же странно. Какой-то разгул ассоциаций сегодня, даже Киб заразился. Может, и ему передалось чужое настроение? Но выяснять некогда. Надо решать, что делать, — объект вот-вот скроется...

— Какова целесообразность сближения с объектом при столь малой вероятности, что он окажется инопланетным кораблем? — быстро спросил Конкин.

— Плюс-минус бесконечность, — бесстрастно ответил Киб.

Конкин кивнул. Все правильно. Известен убыток от срыва программы, и совершенно непредсказуема выгода от встречи с чужим звездолетом. Бесконечно большим может оказаться и ущерб, коль скоро теория неверна и в Галактике есть высоко развитые, но агрессивные цивилизации. Никто же о них ничего не знает, все догадки с большей или меньшей долей вероятности! Достоверен лишь слабый намек на то, что метеорит способен оказаться искусственным телом.

Так стоит ли проверки ради менять курс и нарушать программу?

Строго говоря, задача не имела решения. То была лотерея, и лучший из логиков, Киб, это только что подтвердил.

И все же подобные задачи решались испокон века.

Благодаря интуиции.

«А что тебе, Киб, подсказывает твоя интуиция?» — едва не спросил Конкин, но вовремя удержался. Киб не обладал интуицией, ею люди не могли его вооружить, ибо сами еще как следует не разобрались в том, что же она такое.

Хотя и сумели немного развить в себе.

Конкин стремительно нажал кнопку общего вызова.

Точка росла, все более обретая на экране сходство с рогатой старинной подводной миной. Все уже было ясно, но еще

никто не сказал ни слова, точно восклицание могло повлиять на законы механики и выбросить тело из зоны видимости. В рубке было так тихо, как будто люди перестали дышать, только лица бледнели по мере того, как невозможное, невероятное — инопланетный корабль — прорисовывался на экране. И Конкин не знал, чего в его душе больше — облегчения, ликования, интереса или самого обыкновенного страха.

Его не могло не быть, ибо точно так же, как они держали на прицеле чужой корабль, тот, в свою очередь, держал на прицеле их. И это упорное молчание! Никакого ответа ни на один сигнал, никакого встречного поиска; столь безучастно мог бы вести себя гроб.

Или самая настоящая мина.

Машинально Конкин смахнул с лица пот и с недоумением взглянул на ладонь. Он видел бледные лица друзей, понимал, что сам выглядит так же: тогда откуда пот? Вроде бы человек бледнеет тогда, когда сосуды сжимаются, а пот выступает, когда они расширяются... Или не так?

«О чем вы думали в то историческое мгновение?» — быть может, спросят его когда-нибудь. М-да...

— Пора, — почти беззвучно сказал Зеленин.

Все облегченно задвигались, как будто изменилось что-то.

С едва ощутимым толчком от звездолета отделился зонд. Мгновение спустя он возник на экране. Серебристая в звездном отблеске капля раскрылась, словно бутон, обратилась в подобие какого-то треножника. Лиловым трепетным шнуром вдоль оси «треножника» вытянулось пламя. Уменьшаясь, зонд устремился к чужому кораблю.

Сейчас все должно было решиться. Ни один конструктор, будь он даже из другой галактики, не мог допустить тесного сближения корабля с инородным телом. Безмолвный экипаж или кибер, если корабль был беспилотным, обязаны остановить зонд. Выстрелом? А может, еще и залпом по людям?

Конкин украдкой взглянул на стену рубки, такую прочную и такую тонкую, слабую перед буйством аннигиляционного огня. Правда, расстояние было еще велико. Будь на том корабле аннигилятор земного типа, залп ничем не грозил. Но там, конечно, стоял неземной аннигилятор. Или вообще не аннигилятор...

Неизвестно, что там могло быть. Неизвестно, почему они молчат. Неизвестно, о чем думают. Оставалось лишь положить на теорию, которая утверждала, что у воинственной цивилизации просто нет шанса выйти к звездам, ибо прежде ее должны растерзать внутренние конфликты. Впрочем, с той минуты, когда люди разглядели чужой звездолет, выбора уже не существовало — ведь точно так же те разглядели их.

Лиловый выхлоп зонда обратился в точку. Эта искорка неуклонно приближалась к миноподобному телу, но пока не встречала отпора. Конкин, как и остальные, подался вперед, когда на зонде включился видеопередатчик.

Изображение сразу укрупнилось. Теперь бросалось в глаза, сколь огромен корабль. Его сходство с колоссальной и будто сошедшей с кинолент прошлого века подводной миной стало еще более разительным из-за каких-то темных, как наплыв водорослей, вздутий на броне. Повинуясь команде, зонд огибал

это чудовище по дуге большого круга, тем уменьшая риск спровоцированного поспешным сближением отпора.

Возникло обманчивое впечатление, будто чужой корабль поворачивается, затмевая звезды. И когда, наконец, открылась невидимая прежде часть, тишину рубки потряс общий возглас: в центре звездолета зияла пробоина!

Едва возглас смолк, как все вскопили, вытянулись в том же порыве молчания, в каком люди всегда отдавали почесть погибшим.

Конкин оглянулся, прежде чем нырнуть в темный провал пробоины. С буев светили прожекторы. Удивительно, как мог инопланетный корабль показаться похожим на мину. Впрочем, человек на все смотрит сквозь призму своих эмоций и стереотипов. Теперь как издали, так и вблизи мнимое сходство корабля с древним оружием убийства уже не обманывало взгляд. Если эта инопланетная конструкция на что-то и походила, то скорей на упражнение педантичного тополога, — так непривычно были вывернуты все ее формы.

Теперь это особенно бросалось в глаза. В слепящем свете электрических солнц корабль висел как фантастическая планета, и на мгновение Конкин почувствовал себя сказочным пигмеем. К реальности его вернуло нетерпеливое движение Зеленина, которому он загородил путь.

Первые шаги внутрь вели через хаос рваного и оплавленного металла, который в слабом поле тяжести застыл причудливыми оплывами, сосульками, нитями. Беглый свет фонарей шевелил искореженные тени, сливая их в сумятицу черно-белых фигур, взблесков, пятен, извивов, месиво скачущих форм и сплетений. Невозможно было понять, какой силы взрыв искромсал все вокруг. В ушах мерно отдавалось пощелкивание радиометра, перед глазами мельтешили потревоженные тени мертвого корабля.

Переставляя коробочку детектора с одного излома на другой и вслушиваясь в бормотание анализатора, Конкин сам уподобился тени — таким вынужденно бесшумным и гибким было его скольжение через весь этот хаос. Половину внимания забирало само движение, остальное поглощал голос материи, которая, докладывая через детектор о своем составе, структуре до и после взрыва, связывала Конкина с неведомыми строителями корабля, их давними замыслами, знаниями, воплощенными в металле идеями. Загробный, если вдуматься, разговор, и тем не менее самая обычная для человека вещь, ибо на Земле археологи точно так же вступают в мысленную, хотя и одностороннюю, связь со всеми исчезнувшими поколениями землян.

Наконец зона разрушений осталась позади. Вздохнув с облегчением, Конкин выпрямил спину. Впереди простирался изогнутый коридор с какими-то овалами (дверями?) по обоим сторонам. Нигде ни одной угловатой линии, словно инопланетные строители жили в мире без единой плоскости.

— Совершенно не представляю, где у них что... — пробормотал Зеленин.

— Я тоже, — ответил Конкин. — Придется идти наобум. Археолога бы нам в компанию! Они специалисты по таким ребусам.

— Ладно, подожди годик-другой, я тем временем слетаю за ними на Землю... Пошли!

— Пошли...

Оба чувствовали себя неважно, и непочтительная легкость их разговора была защитной реакцией. Мертвенность корабля угнетала. Собственно, то же самое могло случиться и с людьми, как, увы, и случилось. Некоторые земные звездолеты, верно, и сейчас вот так же несутся в Пространстве и будут в нем странствовать еще миллионы лет.

Вещество, которым был покрыт пол, лишь с виду казалось прочным. Едва Конкин на него ступил, как оно взвилось облачком пыли, которая, понятно, и не думала оседать. Обернувшись, Конкин с досадой посмотрел на ребристый след своей подошвы. Вот уж действительно «на пыльных тропинках...». Теперь этот след сохранится навечно. То есть, разумеется, не навечно, но пару миллионов лет он вот так продержится.

— Не годится, — сказал Зеленин. — Все запылим.

— Естественно, — ответил Конкин и слегка оттолкнулся.

Здесь была сила тягести, но такая ничтожная, что можно было парить, лишь иногда касаясь стен. Регулируя полет, они подплыли к овальной двери (если это, конечно, была дверь), но она не поддавалась. Не поддались и другие.

— Успеем вскрыть, — сказал Зеленин.

Конкин молча кивнул и поплыл дальше.

Все одно и то же: пустой, изогнутый, яйцевидный в сечении коридор и овалы по сторонам. Так прошло пять минут, десять...

Внезапно коридор оборвался. В его торце тоже находился овал. Конкин тронул его без всякой надежды, однако на этот раз дверь уступила нажиму.

Застывший в кресле скелет — вот первое, что они увидели внутри. То и другое было столь необычным и чудовищным для взгляда, что люди в первый момент даже отшатнулись.

Зеленин молча водил съёмочной камерой, и так же молча Конкин наблюдал за ним. Ничто не теряется, думал он. То, что ложится сейчас на голограмму, прорастет, как семя. По скелету легко восстановить индивидуальный облик, а в облике отражен характер. Еще найдутся записи, много чего отыщется. А поскольку все связано со всем так тесно, что капля многое может рассказать об океане, корабль — о цивилизации, строчка дневника — об авторе, то, перебрав информацию, установив системно-корреляционные связи, Киб приблизительно воссоздаст и структуру личности, возбудит оборванный смертью ход мыслей и чувств. Давно не проблема вот так реконструировать человеческую психику, надеть модель самостоятельной, вплоть до участия в разговоре, жизнью. С инопланетянином, понятно, все будет гораздо, гораздо труднее. Но и тут небезнадёжно: чем выше цивилизация, тем совершеннее ее память, тем лучше в ней сохраняется личность.



«Ты, может быть, думал, что все уже кончено, — мысленно обратился Конкин к черепу. — Не совсем...»

Он перевел взгляд на пульт перед креслом. Скорей всего это помещение было чем-то вроде рубки или обсервационной. Но какие немыслимые устройства! Даже кресло можно отождествить с креслом только потому, что его явно использовали как сиденье, иначе вряд ли бы тут оказался скелет. И пульт можно было назвать пультом только по аналогии: сплошной сюрреализм...

— Киб сообщает, что готов по снимкам реконструировать облик инопланетянина, — сказал Зеленин. — Посмотрим?

— Да, да, конечно!

Зеленин, прижав ладонь для упора к груди, привычно отрегулировал наручный видефон. Зеркальце тут же осветилось, и рядом с настоящим креслом возник его голографический двойник. Теперь в рубке было два внешне одинаковых кресла, два неотличимых скелета, только призрачный чуть подрагивал вместе с креслом в такт биению пульса замершей руки Зеленина.

«А пульс-то частит, — машинально отметил Конкин. — Ну естественно...»

Мгновение спустя сходство изображения с оригиналом исчезло, поскольку Киб начал реконструкцию. Никакой — от Кювье до Герасимова — основоположник метода не успел бы понять, что к чему, — так быстро работал Киб.

— Да... — только и сказал Конкин.

Не то чтобы возникшее в кресле существо вовсе не напоминало человека: выражение его глаз не было бессмысленным, как у стрекозы или ящерицы. Но сами эти глаза походили на человеческие не больше, чем репей на оптическую линзу. Так же не соответствовало земным канонам и тело, странно вывернутое по всем трем осям, винтообразное в конечностях.

— Его моторика ясна Кибу. — Зеленин повернул к Конкину напряженное лицо. — Он может показать тело в движении...

— Не надо!

Это вырвалось непроизвольно, и Конкин не пожалел об этом, хотя для дальнейших поисков отнюдь не мешало бы узнать, как движутся инопланетяне. Но увидеть еще и ожившее тело...

— В другой раз, — поспешно добавил Конкин.

Зеленин понимающе кивнул. Он выключил передатчик, и в рубке снова осталось лишь одно кресло со скелетом, похожим на замысловатое корневище, вернее, ни на что не похожим.

— Да, — обескураженно проговорил Конкин. — Теперь я сомневаюсь, пойдем ли мы их...

— Лишь бы хватило информации, — пробормотал Зеленин. Быстрым взглядом он окинул пульт. — Попробую для начала помозговать над этой аппаратурой.

— Тогда я продолжу осмотр...

Вскоре, однако, выяснилось, что осматривать, в сущности, нечего. Всюду и везде Конкина встречали запертые двери. Какие знания, какая необыкновенная техника скрывались за ними? Взломать двери, конечно, было нетрудно, но всему свое время;

сначала надо было составить общее представление о корабле, его создателях и о том, что здесь случилось.

Но пустые коридоры, не менее пустые переходы меж ярусами мало что могли рассказать. Столь же мало говорили уму кое-где встречающиеся знаки и надписи. Конкин аккуратно транслировал их изображения Кибу, и тот, конечно, уже бился над загадкой чужого языка. Без малейшего, само собой, успеха, поскольку данных не хватало.

Разрушения охватывали значительную часть корабля, но все еще было непонятно, что послужило их причиной — какой-нибудь взрыв внутри или столкновение звездолета с чем-нибудь в Пространстве. Пока Конкин даже не мог сообразить, где, собственно, находится ходовая часть звездолета и по какому принципу он движется. Двигался... Велик был соблазн покопаться в разрушенных помещениях, но Конкин не поддался искушению и потому, что это было преждевременно, и потому, что в хаосе можно было застрять, и потому, что там, если причиной взрыва была неполадка двигателя, могла оказаться неведомая пакость — неизвестно же, каким было горючее!

Все же Конкин сунул голову в одну из трещин, которая наискось рассекала закругленную стену перехода неподалеку от тех мест, где все было смято и искорежено. Ничего особенного Конкин не увидел. Пыль, мусор, опрокинутое сиденье, похожее на кресло в той рубке. Нет, было еще кое-что! Близ стены, под самой трещиной валялась игрушка.

То была небольшая, размером с ладонь, скульптура какого-то, судя по всему, зверька. Почему он решил, что это игрушка?! С таким же успехом это могло быть амулетом, сувениром, ночником, диковинным прибором — всем, чем угодно. И все-таки первой догадкой было — игрушка! Вид зверька был столь же непривычным, как все остальное, но в нем чувствовалась свойственная игрушкам обобщенность форм, мягкая ласковость, которая невольно вызывала желание погладить диковинного зверя. Конечно, это был обман восприятия, ложная подсказка земных образов. Откуда могла взяться на звездолете игрушка? Впрочем... Впрочем, и у него на столике сидел подаренный кем-то пушистый бельчонок.

Как бы там ни было, смотреть на инопланетного звереныша было приятно, хотя его тело тоже было скручено и перекручено самым немыслимым образом. Но чуждое всему человеческому искусство все же делало его приемлемым для взгляда. Может быть, по контрасту со всем остальным. Может быть.

«И все-таки контакт, пожалуй, небезнадежен, — подумал Конкин. — Есть что-то вроде мостика...»

Он уже возвращался и более по обязанности пробовал оставшиеся двери, понимая, что они не распахнутся, ибо в момент тревоги, когда воздух со свистом улетучивался из пробоин, автоматика перекрыла и заблокировала все, что могла. Исключением почему-то оказалась только рубка, хотя автоматика в первую очередь должна была сберечь этот жизненно важный центр. Но всякое бывает при аварии.

Вот именно: внезапно подалась еще одна дверь. Не ожидая

этого, Конкин не рассчитал усилия и влетел внутрь темного помещения, которое, однако, лишь мгновение оставалось темным. Вспыхнувший в нем свет был столь ярко, что Конкин невольно зажмурился. Его рука инстинктивно сжала рукоятку дезинтегратора.

Нелепый жест — помещение было пустым, если не считать нескольких сидений у стены справа. Не это поразило Конкина — свет! Мало того, что освещение уцелело, мало того, что оно включилось автоматически, оно было солнечным!

Никакой ошибки... Все заливал яркий солнечный (южный, подсказало ощущение) свет. Только рассеянный, ибо никакого солнца сверху, разумеется, не было. А было сверху чистое, голубое, бездонное, совсем земное небо. И в нем незримо присутствовало солнце.

Солярий, совсем как на земном звездолете...

Собственный стук сердца оглушил Конкина. «Ничего не понимаю, — билась одна и та же мысль. — Совсем ничего...»

Нет, то был отнюдь не солярий. Когда прошло первое ошеломление, Конкин обратил внимание еще кое на что. На сиденья возле стены, на прямоугольную форму самого помещения. Почему только здесь?.. И эти вроде бы деревянные кресла... Они были именно сиденьями, а не решетчатыми мясорубками, как все прочие на этом корабле. Человек вполне мог на них усесться, они имели вполне земной вид; Конкин даже готов был поклясться, что когда-то видел подобные. Нет, чепуха. Откуда здесь могли взяться земные сиденья?! Впрочем, таких на Земле и нет. Все разные и необычные, грубовато-примитивные, правда, изящные в этой своей примитивности, но для сидения, похоже, неудобные.

Или это тоже обман восприятия? Поколебавшись, Конкин присел на одно из кресел так осторожно, точно под ним была тикающая мина. Однако ничего не произошло. Сиденье оказалось очень тесным и неудобным; неясно, на кого оно было рассчитано, но уж, во всяком случае, не на человека в скафандре. И материал, разумеется, не был деревом, детектор это определил однозначно; какой-то имитирующий древесину пластик...

В подлокотники сидений были вмонтированы ряды кнопок. А это еще зачем? Быть может, то, на чем он сидит, вовсе не кресло... а плита для поджаривания? Или катапульты в иное измерение? Что-нибудь в этом роде. Нажмешь кнопку... Тогда понятно, почему это устройство так непохоже на кресло в рубке: совсем иное назначение.

Конкин еще раз внимательно оглядел помещение. Огромный пустой зал, словно инопланетяне понятия не имели об экономии места. Это на звездолете-то? Пол и стены разлинованы на прямоугольники и квадраты; цвет очерчивающих линий — красный, желтый, зеленый, синий. Последовательность спектра. Таков же цвет и порядок кнопок на подлокотниках. Может быть, экипаж и вправду катапультировался отсюда в какое-то иное измерение? Что нам известно об их технике?

«Допустим, ничего, — подумал Конкин. — Зато нам кое-что известно об их мышлении. Пусть у них все шиворот-навыворот, однако инстинкт самосохранения им присущ, как и людям.

Без этого они все давно погибли бы. Значит, надежнее всего должны быть укрыты жизненно важные центры звездолета. Сами инопланетяне или автоматика в момент аварии обязаны заблокировать все, что возможно. Так и случилось, задраено все. Кроме этого помещения. Кроме рубки или того, что мы считаем рубкой. Выходит, это как раз маловажные помещения, какие-нибудь подсобки».

Логично, но нелепо. Слишком много аппаратуры в рубке. Слишком велик этот зал и слишком необычен для звездолета. И в нем горит свет. Нигде не горит, а здесь, можно сказать, пылает. Точно это самое важное, чтобы он здесь горел. Вспыхнул при появлении живого существа. Озарил все до последней пылинки... которых, кстати, здесь нет. Очевидно, пол их каким-то образом всасывает. Расточительно в аварийной ситуации, дико, ненужно!

Значит, нужно, коли есть! Инстинкт самосохранения — это не все, далеко не все, даже у лягушек не все. Разум всегда ставит перед собой какую-то высшую цель. Вообразим себя на месте инопланетян. Итак, взрыв, катастрофа. Первое — спасти жизненно важные центры, хоть как-то восстановить разрушенное, уцелеть. Не вышло, не получилось, корабль обречен. Что тогда? Тогда надо сберечь, сохранить для других все самое ценное. Записи, наблюдения, информацию. Или груз.

Правильно! Только какое ко всему этому отношение имеют две незаблокированные двери? Смысл таких дверей — впускать. Смысл включившегося света — озарять. Смысл кресел (если это кресла) в том, чтобы на них сидеть. Смысл кнопок в том, чтобы их нажимать. Смысл земного, столь неуместного здесь «неба»... Смысл пустых квадратов... Мудро выразился во сне Дон-Кихот: «Где мне еще быть, как не в памяти?»

При чем здесь Дон-Кихот?!

— Конкин, ты что, оглох?..

— Я?.. Извини, задумался. Тут странно...

— Не у тебя одного. Ты где находишься?

— Под земным небом.

— Я серьезно спрашиваю!

— Я серьезно отвечаю. Надо мной ясное земное небо. Его имитация.

— Ах так! Еще любопытней... Оставайся на месте. Опиши дорогу. Иду с новостями. И какими!

Зеленин столь стремительно возник на пороге, что свет взблеснул на полировке его скафандра, точно разряд скопившейся энергии. Мельком взглянув на «небо» Зеленин быстро двинулся к Конкину.

— Я стал разбираться в аппаратуре. Все мертво! Кроме одной цепи...

— Я так и думал.

— Подожди! Возникла азбучная в своей простоте схема нашего участка Галактики. И курс, понимаешь, там был прочерчен весь, до момента аварии, курс!

— Откуда они шли?

— Важнее, куда они шли. На Землю!!!

— На Землю?! Быть этого не может. С Земли!  
— Как... с Земли? Откуда ты взял? На Землю, они летели на Землю!

— Ты в этом уверен? Абсолютно уверен?

— Еще бы!

— Но в таком случае... Так: с Земли и на Землю... Верно!!!  
Ну и глупец же я! Да, да! Вот теперь все стало на место.

— Что?!

— Все. Почему здесь над нами такое «небо»?

— Очевидно, у них похожее.

— И сиденья тоже? Приглядишься.

— Постой, постой... Это не для инопланетян, не та у них анатомия. Но не для человека же!

— Ты не узнаешь эти сиденья?

— Чего узнавать, на Земле таких нет.

— Да, но они были.

— Были?!

— Я тоже их не узнал, потому что мысли не мог допустить о тождестве их облика с земными предметами. А когда я все же разрешил себе подумать о такой вероятности, то, не надеясь на память, запросил Киба.

— И он...

— ...Отождествил внешний облик этих сидений с теми, которые изготавливались на Земле в глубокой древности.

— Не может быть!

— Стопроцентная корреляция.

— Но курс! Если инопланетяне уже были на Земле...

— Были их предки. Сейчас на Землю летели, но, увы, не долетели их потомки.

— Знаешь, я лучше сяду... — ослабевшим голосом проговорил Зеленин. — Смешно, но от всех этих неожиданностей у меня даже в такой невесомости подкашиваются ноги...

— Я как раз хотел предложить тебе сесть.

— Зачем?

— Для проверки одной гипотезы. По-моему, смысл этого «неба» над головой в том, чтобы мы, люди, видели все в привычном для нас освещении.

— Что «все»? Пустоту?

— Нет. Видишь эти квадратики на полу и кнопки в подлокотниках? Меж ними явная связь.

— Согласен.

— Тогда вопрос. С чем таким инопланетяне могли покинуть Землю, а теперь вернуться, что ясно и однозначно раскрыло бы нам при встрече, каковы они?

Зеленин сосредоточенно задумался.

— Да, — сказал он наконец. — Раз они шли на контакт, эта задача перед ними стояла — сразу рассеять возможные сомнения человечества. Чем же они могли... Информацией о земном прошлом? Глупо, сами имеем. Знаниями... Стоп! Как бы мы сами поступили, вновь отправившись к тем, с кем прежде рано было вступить в контакт?

— И что при первом посещении мы могли взять такого, что не обеднило бы то человечество и стало бесценным подарком для нынешнего?

— Как, неужели ты думаешь...

— Отперты были только две двери. Свет зажегся только в двух случаях. С чьим кораблем мог скорей всего повстречаться погибший звездолет в этом участке Пространства? С земным. У инопланетян была цель, и перед смертью они позаботились о ней как о самом важном. Эти кресла — приглашение сесть. Нам остается лишь нажать кнопки.

— Так нажмем их, — дрогнувшим голосом сказал Зеленин.

В немом восхищении оба смотрели на отлитое в серебре лежащее тело Пенорожденной. Статуя, как бы из ничего, возникла над ближним квадратом. Откинув голову, готовая обнять мир, с улыбкой счастья, девушка возносилась из бега морской волны, и свет соленой влагой мерцал на крутой груди, ветер порывом откидывал невесомые волосы, и вся она была порывом открытой солнцу юности. Сияющим и лучистым взглядом она глядела поверх закованных в скафандры космонавтов, а те, онемевшие, стояли перед ней, забыв о космосе и о времени, о знаниях своего века и о мудрости тех, кто погиб, возвращая Земле это нежное чудо.

«Да, — наконец пришел в себя Конкин, — мы поступили бы так же. Не понимая, даже не принимая чужой красоты — спасли бы ее. Ибо можно восстановить утраченное знание, и вернуть жизнь в пустыню, и даже зажечь угасшее солнце. Одного разум не может ни под какими звездами: вновь обрести погибшее искусство...»

Конкин попытался представить, сколько великих сокровищ было утеряно за долгие столетия земных войн, и не смог. Тысячи статуй создал Пракситель: они не дошли до потомков. А сколько осталось неизвестных художников, какие творения вообще забыты? Кто помнил, кто знал о существовании вот этой прекрасной девушки?

Забвение — вот самое страшное для человека слово.

Конкин придвинулся к статуе. Он ни на секунду не усомнился, что перед ним лишь голографический слепок утраченной людьми скульптуры. Но разницы не было никакой, пальцы невольно ждали встречи с одухотворенным металлом. Конечно, нет! Рука прошла сквозь пенное серебро волны.

Так и должно было быть. Взять оригинал — значило бы его похитить. Но и оставить было невозможно, поскольку инопланетяне прекрасно понимали, какая судьба ждет юное человечество и как ничтожен шанс этой красоты уцелеть. Они взяли с собой только образ, но образ, равный оригиналу, где и когда угодно восстанавливаемый в своей телесности. Так извятие стало неуничтожимым, девушка бессмертной, точно и не было варвара, который там, на Земле, однажды переплавил эту красоту в звонко бренчащие монеты.

— Может быть, на своей планете они не только хранили, но и любовались ею, — глухо проговорил Конкин.

— Все узнаем, — спокойно ответил Зеленин. — Раз они взяли ее с собой, значит, уже тогда они разглядели в людях лучшее. Какие еще могут быть трудности?

Он уверенно нажал подряд на все кнопки. И люди увидели,

как, теснясь и заполняя собой пространство, к ним возвращается все древнее, казалось бы, навеки утраченное искусство былых времен и народов.

Конкин неподвижно завис над ярко озаренным прожекторами телом чужого звездолета. Инаковость его форм уже не поражала, наоборот, казалась гармоничной. Полное совершенство замысла и исполнения — вот что теперь видел глаз.

Внезапная, дотоле, видно, дремавшая мысль, оттеснив счастливую усталость, наполнила Конкина беспокойством. Какая странная, если вдуматься, и хрупкая нить случайностей привела их к погибшему кораблю, вернула Земле ее сокровища! Если бы не раннее его, Конкина, пробуждение, точка, очевидно, исчезла бы с экрана, прежде чем на нее взглянул человек. И если бы не дотошная любознательность Киб... Если бы, если бы, если бы!

Да, но что в этом особенного?

Столь неочевидный поворот мысли поразил Конкина. Действительно! Самое удивительное, что в этом «чуде случайностей» нет ничего особенного. «Если бы» вездесуще. Если бы Земля возникла чуть дальше от Солнца или была чуть ближе, о какой жизни могла идти речь? Если бы само Солнце оказалось активней... Миллионы «если бы»!

А в результате — мыслящий разум.

Слепая игра вероятностей, обычная закономерность случайного, вот и все.

Но разум-то не вслепую играет! Как мог бы художник достичь совершенства, перебирая все сочетания красок и форм? Ему и миллиарда лет не хватило бы. Как ученый из такого же хаоса вариантов смог бы выделить связующий факты закон? Менделеев — тот часть этой работы проделал во сне... Связей в мире больше, чем атомов, но разум не теряется в этой чашобе. Ему даже удается предвидеть будущее.

А их, людей двадцать первого века, интуиция оказалась сегодня всего лишь равной гениальному усилию того скульптора, который тысячи лет назад изваял под небом Греции эту прекрасную девушку. Впрочем, так ли уж равной? Из бесконечных сплетений действительности они всего лишь выхватили нужную нить, из миллиарда возможностей выбрали наилучшую, следствием чего стал верный поступок. Но такого же творческого взлета могли достичь и другие люди; не эта, так другая, третья цепь совпадений могла бы их привести к тому же открытию. А древний ваятель создал то, что никто, никогда и нигде не смог бы повторить ни при каком стечении обстоятельств!

Вот что инопланетяне поняли давным-давно. Вот что они спасали и спасли.

Обратясь лицом к мертвому кораблю, Конкин в безотчетном порыве поднял руку в приветствии тех, на чьем языке говорил древний ваятель.

— Хайре! Здравствуйте!

# ЧЕЛОВЕК В ПАРИКЕ

*Повесть*



**Г**орничная заперла убранный номер и постучала в соседнюю дверь. Изнутри никто не отозвался. Она постучала еще раз и начала подбирать в связке ключ, как вдруг вспомнила, что именно в 315-м номере вот уже три дня живет пан Кошух. Он болен и почти не выходит на улицу. К нему приехала жена. Может быть, они еще спят? Вчера, постучав в то же время, она услышала в ответ звучный женский голос, и, пока убирала комнату, оба оставались в номере. Пан Кошух сказал тогда, что ждет машину с верфи, на которой вернется домой. Горничная осторожно постучала в третий раз. Никто не отозвался. Пусть поспят! Она решила прибрать эту комнату под конец.

Два часа спустя, в полдень, она вернулась к двери 315-го номера. Постучала — тишина. Снова постучала — тишина. Она удивилась. Все еще спят? Или он спит, а жена ушла? Нет, вряд ли. Работая в прямом широком коридоре четвертого этажа, она бы услышала, если бы кто-то открыл дверь комнаты.

Горничная сильно постучала в третий раз и, не дождавшись ответа, вставила пло-



ский ключик в замок, повернула его вправо. Замок сразу же подался, она нажала дверную ручку, потянула дверь к себе. В этой старой гостинице у каждой комнаты было две двери, отделенные друг от друга полутораметровым тамбуром. Внутренняя дверь тоже была заперта. Женщина, охваченная внезапной тревогой, снова постучала. Никто не откликнулся. Она энергично нажала дверную ручку и увидела светлую комнату, залитую полуденным майским солнцем. А у правой стены, в кресле...

Горничная пронзительно крикнула, потеряла сознание и повалилась на пол.

Убиравшая лестницу другая горничная услышала крик. Выключив гудящий пылесос, она быстро, насколько позволяли ей отекавшие ноги, выбежала в коридор и устремилась к единственной широко открытой двери. Подготовленная криком к самой ужасной неожиданности, она не потеряла сознания, и, выскочив из 315-го номера на лестницу, стала истерически звать на помощь портье:

— Пан Станислав! Пан Станислав! Беда!

Портье поднимался наверх, шагая через две ступеньки, что в его возрасте и при его весе было не так легко. Еще быстрее он выбежал из комнаты, не забыв, однако, распорядиться, чтобы никто туда не заходил и не прикасался ни к Кошуху, ни к горничной Марковской. Скатившись по лестнице, он у себя за перегородкой набрал номер районного управления милиции. Со «скорой помощью» он тоже соединился быстро.

Три автомашины — две милицейские и «скорая помощь» — затормозили возле «Съвета», большой, но отнюдь не самой комфортабельной в городе гостиницы. В вестибюль вошли пятеро в штатском и милиционер в форме, а за ним молодая женщина — врач.

Задыхавшийся портье трясущейся рукой указал им дорогу.

— Вот тут! — Портье остановился, пропуская приехавших вперед. — Она, наверное, в обмороке, а он... — Портье пятился, не желая снова увидеть страшное зрелище. — Мы ни к чему не притрунулись, даже к ней, — заверял он работников милиции.

Поручик Левандовский, офицер следственного отдела городского управления милиции, остановил своих спутников:

— Мипуточку! Не все вместе. Я войду первым.

За порогом открытой настежь двери все еще лежала в обмороке горничная Марковская. Поручик склонился над ней: она приходила в себя, даже пошевелинулась.

— Займитесь ею, — попросил врача «скорой помощи». — Хотелось бы, чтобы она как можно скорей заговорила...

Направо от большого окна через ручку маленького креслица перевесилось тело мужчины. Его левая рука почти касалась пола, правая сжимала подлокотник, словно в последний момент он пытался вскочить. На дешевой пижаме в голубую полоску темнели пятна запекшейся крови. Кровь стекала с груди на живот, на бедра, на пол. Большая липкая лужа скопилась у его ног.

На полу, за креслом, лежал мужской парик из темно-русых волос. Лысый, бледный череп убитого пересекал свежий шрам.

В груди слева торчал глубоко вонзенный кинжал.

Поручик Левандовский широко раскинул руки, как бы стремясь оградить труп от любопытных взглядов. Позади него стояли судебно-медицинский эксперт и двое уполномоченных из следственной группы. Ни к чему не прикасаясь, сдерживая дыхание, поручик наклонился над креслом. В полной тишине он долго всматривался в рукоятку кинжала: на ней виднелись маленькие дырочки, расположенные в форме свастики, когда-то там находившейся, а потом отодранной. Поручик позвал врача и своих товарищей. Вместе они продолжали внимательно рассматривать тело.

Человек был мертв. Он был мертв уже много часов.

— Удар нанесен с абсолютной точностью, — тихо сказал врач. — Прямо в сердце.

Поручик Левандовский медленно повернулся. Не сходя с места, он окинул пристальным взглядом комнату. Обычный двухместный гостиничный номер. У стен две аккуратно застланные кровати, однако видно, что пользовались только одной: кто-то ложился на неразостланное одеяло. На низкой скамеечке — открытый чемодан с перевернувшимся бельем. Искали там что-нибудь? А где костюм убитого? Видимо, в запертом большом шкафу. Над умывальником, на полочке, туалетные принадлежности, бритвенный прибор. На столе — раскрытая книга, недопитый стакан чая, грелка. Пачка сигарет «Спорт» и коробка спичек. Две газеты — познаньская и местная. Пепельница со множеством окурков. Под кроватью — изношенные полуботинки. Нехитрое имущество человека в пути. Все заурядное, стандартное...

— Что ж, беритесь за работу, — поручик обвел рукой комнату. — Только сберегите мне следы, все следы...

— Горничная уже может говорить, — сообщила врач из «скорой помощи».

— Уведите ее, пожалуйста, в соседнюю комнату, — сказал поручик. — Я сейчас к ней зайду.

— Позовите сюда портье! — крикнул Левандовский, повернувшись к открытой двери.

Пан Станислав неохотно вошел в комнату. Остановившись на пороге, он смотрел в окно, отводя глаза от трупа. Поручик жестом позвал его поближе.

— Кто это? — спросил он, когда портье подошел к креслу.

— Пан Анджей Кошух, — пробормотал тот, с трудом разжав зубы.

— Анджей Кошух, — повторил Левандовский. — Он жил в этом номере?

— Три дня. С тех пор как выписался из больницы.

— Из больницы? Он болел?

— Три месяца назад попал в автомобильную катастрофу. Тогда он тоже ехал к нам. Он всегда у нас останавливался, много лет.

— Зачем он приезжал?

— В командировку. На верфь, из Познани. С верфи для него заказывали номер или койку, если не было свободных номеров...

— Из Познани?

— Да, с машиностроительного завода. Он всегда у нас оставался.

— Это наверняка он? Наверняка Кошух? — Левандовский пристально наблюдал за перепуганным портье, который, точно загнипнотизированный, не отрывал взгляда от убитого.

— Без волос, — прошептал портье, — но все же это он...

— Что, Кошух всегда носил парик?

— У него были волосы... Я не знал, что не свои.

— Итак, вы уверены, что это Анджей Кошух?

— Да.

— Три дня проживавший в этом номере?

— Да.

— Один?

— Один... он был прописан, но вчера приезжала жена.

— Из Познани?

— Из Познани... Я думаю, из Познани.

— Она не прописывалась?

— Нет. Ей не надо было прописываться. Она пробыла у нас несколько часов. Утром приехала, а днем уехала.

— В котором часу?

— В третьем, около трех. Это я заметил. Кошух сам проводил ее на вокзал. Вернулся часа в четыре. У нас в это время спокойно... Он постоял со мной, сказал, что хорошо себя чувствует, что жена уехала и он тоже скоро поедет домой.

— Жена молодая? Красивая?

— Какое там! — Портье махнул рукой, как бы подчеркивая этим жестом налепость подобного предположения. — Но помоложе его, — добавил он, глядя на лицо убитого. — Впрочем, в парике он тоже выглядел моложе. А насчет нее я вам вот что скажу. пан поручик: одну называют дамой, а другую — женщиной. Она — женщина.

— Поляк?

— Почему я знаю? По-польски она говорила как вы, как я, как все.

— А он? — Поручик кивнул на убитого. — Поляк?

— По-моему, да. Поляк. В бланке на прописку...

— Он прописан?

— А как же! Мы за этим следим.

— Вы вчера дежурили?

— Я.

— И сегодня опять вы?

— Я часто дежурю несколько дней подряд. Рядом живу, на ночь приходит второй портье, а я днем работаю... Мы сменяем в восемь.

— Кто приходил вчера к Кошуху, кроме жены?

— Кто? — Портье задумался. — Сюда много народу ходит. С утра до вечера. Если кто знает, в каком номере живет знакомый, то ни он нас ни о чем не спрашивает, ни мы его. Днем каждому можно зайти... Согласно правилам внутреннего распорядка. — Он указал рукой на висящую в рамке инструкцию. — Только насчет девушек по вечерам строго...

— Девушки у него бывали?

— Боже сохрани! Никогда, ни одной. Нет! Очень приличный был постоялец.

- А мужчины?
- Каждый день приходил доктор из больницы.
- Откуда вы знаете, что это был доктор?
- Три дня назад, когда пан Кошух утром приехал из больницы, тот пришел часов в пять и спросил, в каком номере пан Кошух. И назвал себя. Я поинтересовался здоровьем пана Кошуха. Доктор сказал, что пан Кошух еще слаб, но теперь все будет в порядке...
- Доктор и вчера приходил?
- Да, вчера тоже.
- В котором часу?
- Часа в четыре-пять... Точно не помню. Мы не проверяем, кто когда вошел, кто вышел.
- А другие приходили к нему? Спрашивали о нем?
- Приходили, но спрашивать не спрашивали. Спрашивали три дня назад, когда он выписывался из больницы. В тот день к нему пришел двое, нет, трое мужчин...
- Вместе?
- Порознь. И каждый справлялся, в каком номере проживает пан Кошух. Тогда вся наша гостиница только о нем и говорила. Мы так радовались, что он поправился! И вот поди ж ты, какое несчастье...
- Кто они? Те трое?
- Да они не говорили.
- Как выглядели? Поляки?
- Поляки. Все, надо думать, поляки. Один очень элегантный, высокий, представительный.
- А другие?
- Второй в кожаной куртке, в свитере. На шофера смахивает. Я даже удивился, переспросил его: «Вы к пану Кошуху?» У него на носу шрам. Небольшой, на самом кончике.
- Третий?
- Третий серенький. Ни худой, ни толстый, в обыкновенном пиджачке. И сам обыкновенный.
- Который из них приходил вчера?
- Все трое были... Впрочем, не могу вам точно сказать, приходил ли серенький, в пиджачке. Его не запомнишь. Да и никто уже ко мне не обращался, все знали дорогу. Ведь три дня подряд ходили. Но элегантный определенно был. И тот, со шрамом, тоже был.
- Когда? Кто в какое время приходил?
- И утром кто-то заходил, когда жена была, и потом... Элегантный пан, кажется, забегал до обеда.
- У Кошуха было много знакомых в нашем городе?
- Наверное... Он же столько раз приезжал. Но раньше никто никогда к нему не ходил.
- Раньше он сам мог ходить, — буркнул Левандовский.
- Ясно, — поддакнул пан Станислав.
- Поручик вышел с портье в коридор, чтобы не мешать врачу и фотографу.
- Теперь я хочу поговорить с горничной, — заявил офицер. Ему указали на соседнюю комнату, где ждала Марковская. —

А вы постарайтесь точно вспомнить время и все обстоятельства вчерашнего пребывания в гостинице этих трех мужчин, — сказал Левандовский, обращаясь к портье. — Это чрезвычайно важно.

\* \* \*

Кабинет был довольно просторный, из двух угловых окон открывался сельский пейзаж. Старая больница стояла на невысоком холме, на окраине широко раскинувшегося города.

— Смоленский, Ежи Смоленский, — отчетливо представился доктор.

Поручик знал его в лицо, много слышал о нем. Хирург Смоленский был восходящим светилом. Больные добивались, чтобы именно он их оперировал, милиция неоднократно обращалась к нему за советом по специальным вопросам. Мужчины обменялись рукопожатиями. Хозяин предложил офицеру удобное кресло.

— Кофе? Чаю?

— Чаю, если можно. С утра до вечера мы пьем кофе. Национальный напиток. Говорят, это вредно, — поручик рассмеялся.

Выйдя в коридор, доктор велел принести два стакана чаю, а затем сел в кресло напротив Левандовского. Их разделял стеклянный квадратный столик. Доктор пододвинул к гостю пачку сигарет «Кармен» и первый приступил к делу:

— Когда вы мне сообщили об этом по телефону, я был настолько ошеломлен, что... вы сами понимаете... Но приходится держать себя в руках...

Поручик еще раз более подробно повторил уже сказанное.

— Ему не суждено было жить, — пробормотал Смоленский.

— Если так смотреть на вещи... — начал Левандовский.

— Подумайте, подняться на ноги после кошмарной катастрофы, чтобы сразу же умереть насильственной смертью...

— Я просмотрел протокол по поводу того несчастного случая. В гололедицу «зубр» наехал на них сзади, на повороте... Они всегда посятятся как бешеные, ни с кем не считаются. Водитель «нисы» свернул, ему больше ничего не оставалось. Тут-то машину и занесло. Кошух сидел справа от водителя...

— Кошух чудом выкарабкался. Когда его к нам привезли, это был кандидат в покойники. У него было переломано все, что могло сломаться, а к тому же тяжелые внутренние повреждения. И, представьте себе, все удалось сплести и склеить.

— Немедленная помощь...

— Да. Кошух несколько раз повторил, что хотел бы отблагодарить того молодого человека, который как раз подъехал на своей «варшаве», посадил их обоих, его и водителя, в машину и доставил нам...

— Водитель «нисы» быстрее поправился.

— Он меньше пострадал. — Доктор придвинул к поручику кипу бумаг. — Я велел подготовить все документы. Возможно, они вам понадобятся.

— Кошух все время был под вашим наблюдением?

— С первой и до последней минуты. Их привезли в мое дежурство.

— Вы немало над ним потрудились.  
— Не только я. Целый коллектив, включая зубного врача.  
— И парикмахера. Старый парик, очевидно, пришел в негодность.

— Кошуху проломило голову. Парик я ему заказал. Дать вам адрес парикмахера?

— Это не имеет особого значения.

— Вы иногда придаете значение каждой мелочи. Так что в случае чего можете обратиться ко мне. Это театральный парикмахер, мастер своего дела. Кошух не хотел выписываться из больницы без шевелюры. Он сам над собой посмеивался, утверждал, что женщины не любят лысых.

Оба собеседника криво улыбнулись. Несмотря на относительную молодость, у обоих уже появились залысины.

— Бабник?

— Этого я установить не мог. Но организм исключительно сильный, чему мы и обязаны успехом.

— Горький успех. Вы подарили ему лишь несколько недель жизни, — меланхолически вздохнул Левандовский.

— У каждой профессии своя мера успеха. Одна — у судьи, другая — у нас. Если врачу удастся продлить жизнь старика на несколько часов, это уже успех...

— Подумайте, доктор, этот человек был зверски убит через четыре месяца после того, как чуть было не погиб в катастрофе, причем шофер, виновник катастрофы, скрылся и до сих пор не обнаружен...

— Вы связываете эти два факта?

— Я еще ничего не связываю. Пока я просто фантазирую. У этого человека, быть может, были враги, что-то его угнетало. Вы ничего такого не заметили?

— Ничего. — Доктор Смоленский взглянул поручику прямо в глаза. — Даже если бы я вскрыл полушария головного мозга, то все равно не прочел бы его мыслей.

— Кто к нему приходил?

— Об этом лучше спросить сестер. В часы, когда разрешено посещение больных, я обычно уже не бываю. Со мной разговаривала только его жена. Она несколько раз приезжала из Познани. Еще вчера...

— Вы встретились с ней у него в гостинице?

— Нет! Утром она приходила сюда, в больницу. Я ее успокоил, сказал, что муж еще слаб, но совершенно здоров.

— Для порядка... Вы заходили к нему в гостиницу? Уколы?..

— Никаких уколов. Повторяю, он был абсолютно здоров, только еще слаб. Причем дело даже не в физической слабости. У нас он занимался гимнастикой, часами гулял в саду. Но осталась в нем какая-то... ну, запуганность, что ли. Он боялся уличного движения, избегал толпы. Я живу недалеко от «Сьвита», поэтому заходил к нему. Все эти дни он просидел в гостинице, не хотел выходить на улицу, словно чего-то опасался.

— Чего-то или кого-то?

— Тогда я думал, что он боится чего-то, приписывал его страхи шоку, вызванному катастрофой.

— У него был какой-нибудь заклятый враг?

— У кого их нет, поручик?

— Но не каждого убивают! Вы трижды были у него в гостинице. Не заметили ничего подозрительного?

— Вопрос сформулирован слишком общо.

— Потому что мы сами еще ничего не знаем. Два часа назад нашли тело. Встречали вы там кого-нибудь?

— Никого. Но знаю, что его навещали.

— Он говорил вам?

— Я сам навел его на этот разговор. В пепельнице было полно окурков. А он в больнице не курил.

— Отвык или вообще никогда не курил?

— Видимо, никогда. Как-то я ему предложил — сам я много курю, — а он рассмеялся и сказал, что не знает вкуса сигарет.

— Есть такие люди.

— Они счастливее нас с вами. И тем не менее у него в пепельнице было полно окурков.

— Когда вы об этом заговорили? Вчера? Позавчера?

— Кошуха выписали отсюда в понедельник утром...

— Минуточку, доктор! Простите, что я вас перебил. Кто знал, что Кошуха выписывают из больницы?

— Очень многие — санитарки, сестры, больные, лежавшие с ним в одной палате, вероятно, также и люди, посещавшие этих больных. Об этом всегда говорят в больницах.

— Когда стало известно, что Кошух выписывается именно в этот понедельник?

— Окончательно вопрос решился только в субботу, когда мы провели последний осмотр. Тогда я сказал, что в понедельник мы его выпишем. Но еще за неделю до этого шел разговор о следующем понедельнике, если не будет никаких осложнений...

— Осложнений не было. В понедельник он выписался. Когда вы зашли к нему в гостиницу? Вчера? Позавчера?

— В тот же день, в понедельник. Но тогда я еще не заметил никаких окурков.

— В котором часу вы заходили?

— По пути домой. В пятом часу.

— А во вторник?

— В то же время. После работы.

— А в среду? Вчера?

— Тоже примерно в полпятого.

— После отъезда жены?

— Он как раз вернулся с вокзала, проводил ее, за что я его очень хвалил.

— Он еще не переоделся в пижаму?

— Нет. — Доктор изумился. — Почему вы об этом спрашиваете? Он был в костюме.

— А раньше? В понедельник, во вторник? Он принимал вас в пижаме или в костюме?

Подумав, доктор уверенно ответил:

— В костюме. Он даже говорил, как приятно одеваться в нормальный костюм после того, как несколько месяцев приходилось носить больничные пижамы и халаты.

— О чем вы с ним разговаривали?  
— В больнице или в гостинице?  
— Я имел в виду гостиницу, но скажите сначала о больнице.

— О болезни. О его болезни. Ведь это любимая тема пациентов. Бесконечные вопросы, на которые мы не любим отвечать: «Когда меня выпишут?» Мы не любим назначать сроки, ведь ничего нельзя сказать с полной уверенностью. Изредка он заговаривал о жене и дочери, реже — о работе.

— А в гостинице?

— В гостинице он благодарил меня. И опять все о том же — о доме, о дочери, что скоро выйдет на работу...

— И о курящих знакомых?

— Да. Сказал, что его навестил Грычер, журналист, сотрудник нашей воеводской газеты, который вместе с ним несколько недель пролежал в больнице. Тоже жертва автомобильной катастрофы. И были какие-то работники верфи, которые все время о нем заботились после этого несчастного случая.

— Заботились о нем, следовательно, хорошо к нему относились. Портье гостиницы тоже тепло о нем вспоминает. А вы, доктор?

— Он был моим пациентом! — резко ответил хирург.

— И все же у него были враги или враг! Какое стечение обстоятельств! Катастрофа, шофер исчез, убийство...

— Вероятно, на шоссе был просто несчастный случай.

— Может ли кто-нибудь из нас, доктор, утверждать это с полной уверенностью?

\* \* \*

Вечером состоялось совещание в кабинете заместителя начальника городского управления милиции. Убитый постоянно проживал в Познани, надо было и там произвести расследование. Поэтому делом занялось не районное, а городское управление. Целый штаб слушал первый доклад поручика Левандовского. Поручик пытался делать выводы, заместитель начальника управления их решительно отклонил.

— Такое стечение обстоятельств? — удивлялся Левандовский. — Через четыре месяца после катастрофы — убийство? Одно покушение за другим, как на государственного деятеля. И даты! Обратите внимание на даты! 15 января — автомобильная катастрофа, 15 мая — кинжал в сердце. Роковое пятнадцатое число!

— Случайность...

— А если не случайность? Известно, что убийцы зачастую обладают ограниченными умственными способностями, а такие индивидуумы придают символическую куда большее значение, чем интеллектуально развитые люди...

— Спокойнее, поручик...

— Но ведь шофера не нашли! Как раз в этом случае не нашли! — Левандовский потряс лежавшей на столе пачкой документов. — Наехал на них на повороте, есть все признаки преднамеренности, и исчез...

— Простого служащего послали из Познани на машине?



В такую даль? — недоверчиво спросил замначальника управления.

— Автоинспекция тоже этим заинтересовалась. Выяснилось, что машину, маленький автофургон «ниса», послали в порт за каким-то грузом для завода. Было свободное место, и Кошух попросту этим воспользовался.

— Кто в Познани знал, что Кошух поедет на этой «нисе»? Водитель-самоубийца?

— Тогда никто над этим не задумывался. Сочли, что имеют дело с очередным автопиратом. Только мы установим...

— Вот именно, установим... Но пока мы еще ничего не установили — и заранее все знаем! Берегитесь преждевременных гипотез, как ухабов. Будем придерживаться фактов. Убит Анджей Кошух. Возраст?

— Фактов! Каких же фактов? Тут сплошные вопросы, а не факты. По паспорту сорок пять лет. По мнению врача, на несколько лет больше. Видимо, он для того и носил парик, чтобы казаться моложе.

На столе лежали снимки: убитый без парика и убитый в парике. Действительно, в парике он выглядел на несколько лет моложе.

— Убийца раскрыл этот секрет Кошуха. Он сорвал с него парик, чтобы доказать либо ему, либо нам, что знает его настоящее лицо. На парике, как и на кинжале, нет отпечатков пальцев...

— Он схватил его за волосы, на волосах не остается отпечатков...

— Простите. Могло быть и так. Но, уж во всяком случае, не Кошух сбросил с себя парик, которому придавал такое значение. Следовательно, убийца хотел показать его подлинное лицо. Кто-то хорошо знавший Кошуха. Кто-то воспользовавшийся кинжалом гитлерюгенд с прибитой в свое время к рукоятке свастикой. Что это, месье? Приговор? Символ? Демонстрация? А может, все-таки случайность? В нашем городе было много гитлеровского оружия, оно повсюду валялось, кое-кто подобрал такие кинжалы...

— Врач установил, что смерть наступила между восемью и девятью вечера 15 мая. Двадцать четыре часа назад. Сколько человек могло за это время беспрепятственно уехать отсюда даже за границу? Кто знает гостиничные порядки, тот может быть совершенно уверен, что, если не вспыхнет пожар, только на следующий день утром горничная обнаружит труп.

— Доктор Смоленский показал, что Кошух боялся чего-то или кого-то.

— Вполне возможно. Он боялся того, кто его впоследствии убил. Только почему он не обратился к нам за помощью? Правда, есть люди, предпочитающие не посвящать в свои дела милицию.

— Вот именно, — обрадовался Левандовский, принимая это как знак согласия.

— Итак, кто бывал у него в больнице, кто в гостинице?

Левандовский сообщил об итогах первых четырех часов следствия. В гостинице Кошуха навещали четверо мужчин и жена. Без малейшего труда удалось установить личность троих гос-

той: доктора Смоленского, журналиста Грычера, лежавшего вместе с Кошухом в больнице и бывавшего у него ежедневно в гостинице, а также Познанского, служащего дирекции верфи, который заботился о Кошухе, когда тот лежал в больнице, приходил к нему в гостиницу и обещал отправить на машине в Познань.

— Вот как, он собирался ехать в Познань на машине! — воскликнул замначальника управления. — Значит, он не боялся нового покушения на шоссе.

Левандовский задумался: это ему не пришло в голову.

— Продолжайте. Четвертый?

— Четвертый! Четвертый был, был наверняка. Его несколько раз видел портье, и в комнате обнаружены еще не идентифицированные отпечатки пальцев двух человек. Остальные проверены: горничная, Смоленский, Грычер, Познанский, сам Кошух. Остается, видимо, жена и неизвестный, четвертый мужчина, оставивший следы только на столе и на ручке кресла. Мужчина с небольшим шрамом на носу, которого запомнила также медсестра воеводской больницы. Он один еще не дал знать о себе. Грычер пришел к Кошуху, когда мы сидели в гостинице. И Познанский тоже явился в гостиницу. Сам, по собственной инициативе.

— Алиби у них есть?

— У доктора никакого...

— Никто его не позвал на именины? Ведь вчера все Зофьи праздновали...

— Зофьей зовут его жену, которая недавно от него ушла. Теперь он один гуляет по вечерам.

— Наиболее заслуживают доверия люди, которые не могут доказать свое алиби.

— У Познанского жена справляла именины. Живут они далеко за городом. Грычер дежурил по редакции. Все это мы проверим.

— Таким образом, ускользнул от нас пока что четвертый?

— Да, о четвертом нам ничего не известно.

— Ставлю два вопросительных знака: из каких соображений Анджей Кошух носил парик? Кто этот человек со шрамом на носу?

— И третий: кто выехал из Польши, в частности из нашего города, за последние несколько часов? — упорно настаивал на своем Левандовский.

— А может, преступник вовсе не уехал? Притаился, ждет, пока не уляжется суматоха?

Заместитель начальника управления отдавал распоряжения. В состав оперативно-следственной группы войдет, конечно, Левандовский. Группа будет подчинена майору Кедровскому. Майор кивнул. На совещании он не произнес ни единого слова — только слушал. Майор всегда только слушал, а потом обычно задавал каверзные вопросы.

— Когда вы едете в Познань? — спросил он Левандовского, когда они выходили из кабинета.

— Первым утренним поездом.

Нет, чем дольше он смотрел на нее, тем более убеждался, что портье «Съвита» — плохой физиономист! Лицо у нее не женское, а мужское, жесткое, хотя по-женски округлое, даже слегка подкрашенное. «В этой семье, — думал Левандовский, задавая вопросы и слушая ответы, — ей принадлежал решающий голос. Она наверняка больше зарабатывала». Довольно просторная комната, хотя в разных углах ее стояли две тахты, несомненно, была мастерской портнихи. Полстола завалено отрезами, скроенные и готовые платья свешиваются с тахты, с кресел. Большой трельяж. Повсюду коробочки с булавками. Сантиметр на шее у хозяйки. Швейная машина, вероятно, стоит в другой комнате. Левандовский уже не удивлялся, что на табличке на дверях квартиры написано ее, а не его имя.

Она удивлялась, услышав в прихожей его первые слова. «Ранен», — осторожно сказал Левандовский. Она рассмеялась резким, неприятным смехом: «Быстро же вы хватились, ведь это было четыре месяца назад!..»

— Нет, — возразил Левандовский и уже без предисловий сообщил, кто он и что произошло.

Женщина застыла.

Они стояли друг против друга. Она оперлась пальцами о столешницу и молчала. Не крикнула. Не позвала дочь. Левандовский не знал, дошел ли до нее смысл сказанного. Поэтому он повторил все еще раз, не вдаваясь в подробности, не говоря ни о парике, ни о свастике, заменив кинжал ножом. Она опустила веки в знак того, что слышала, поняла, знает. Только не реагирует.

«Быть может, она испытывает облегчение? — подумал Левандовский. — Быть может, эта смерть, что нередко случается, разрубила какой-то семейный узел, который никак не удавалось развязать? Она не пропадет без мужа. Портниха!»

Быть может, ей теперь легче будет справляться с дочерью — стройной девушкой, открывшей ему дверь. Грычер, которого свела с Кошухом в больнице общая беда, рассказывал о его семейных делах. Своевольная дочь, без особого прилежания учившаяся в чертежном техникуме, спасалась под крылышко мягкого, вялого отца от категорических требований матери. Видимо, плакать в этом доме будет дочь, а не мать.

Поручик прервал свое повторное сообщение на полуслове. Сейчас ее черед спрашивать, высказаться, хоть посетовать на судьбу. Но женщина молчала. Свет, падающий из окна, подчеркивал ее замкнутость, ее каменное спокойствие. Ее жесткое, как ему показалось, равнодушие.

— Мы начали следствие. Время не терпит. Вы в состоянии ответить на несколько вопросов?

— Сейчас?.. — Она сказала это удивленно.

— Если вам трудно...

— Спрашивайте, — тихо произнесла женщина. — Могу я позвать дочь?

Однако, прежде чем он мог выразить согласие, женщина передумала.

— Нет, нет, — смятенно проговорила она, — еще успеется...  
Спрашивайте!

Сначала она подтвердила уже известные милиции факты: свое пребывание в гостинице «Сьвит», часы приезда и отъезда, приход журналиста, разговор с доктором. Кто еще заходил к мужу?

— Он сказал, что приходили несколько человек, были с верфи. Обещали дать машину. Но я советовала ему отказаться от машины... Видите ли, — впервые за время этого чересчур спокойного разговора Левандовский уловил в ее голосе иную нотку, — видите ли... я боялась машины. Опять будет катастрофа...

— Будет?

— Теперь-то уж не будет. Они расправились с ним по-другому. Но ведь тогда, на шоссе, его хотели убить!

— Кто? — Поручик захлебнулся от возбуждения.

— Ох, это давняя история! Он всегда был замкнутый, скрытный, ничего не говорил, точно я ему чужая. Но тогда он стал сам не свой, ходил как в воду опущенный...

— Пил?

— В жизни не пил. Никогда я его не видела пьяного. Пива с товарищами, бывало, выпьет, а больше ничего. Я тогда не выдержала, спросила, что с ним сделалось. Он три дня молчал. Потом сказал. Накрыл он вора у них на заводе. И тот пригрозил, что, если он хоть словечком обмолвится, ему несдобровать... Муж не знал, как быть. Заявить или промолчать...

— А вы?

— Интересно, что бы вам посоветовала жена? Мало ли воруют? А ему своей шкурой расплачиваться? Я хочу спокойно жить. Я кусок хлеба всегда заработаю, и в такие истории нам незачем впутываться! — и ее голос звучал теперь пронзительно, в нем слышалась злоба. — Лишь бы сам не воровал! А тут не видел, не слышал — и дело с концом! Да они ему, видно, не поверили. Наехали на него сзади, на повороте, дурили прикончить. И прикончили...

— Кого именно он накрыл? Фамилии он вам назвал?

— Что вы! Таких вещей он никому бы не сказал. Скрытный был человек.

— И поэтому скрывал свою лысину?

— О, — она подняла глаза на поручика, — вы и это заметили? Даже Уля не знает, что отец...

— Давно он носил парик? — Левандовский сделал вид, будто не замечает ее изумления.

— Давно ли? На моей памяти всегда. Я долго и не догадывалась, что у него чужие волосы. Он не терпел свою лысину. Говорил, что в войну, когда он партизанил, им приходилось спать в завшивевших деревнях. Там к нему пристала какая-то болезнь, от которой у него вылезли волосы. Лысина его старила...

— Простите за нескромный вопрос, но он, как человек скрытный, не отличался особой общительностью. Так не все ли равно ему было, как он выглядит?

— Каждому хочется выглядеть моложе своих лет. И уж, во всяком случае, не старше.

— Вы с ним познакомились после войны?

— В сорок седьмом. Еще мои родители были живы. Здесь мы и жили, в этой квартире. Я работала в городском Совете. Он приехал из-за Буга, оформлял прописку. Были какие-то трудности, документы не в порядке. Он несколько раз приходил в Совет, как-то пригласил меня в кафе. Так и началось. Как у людей... Я была чуть помоложе, он чуть постарше. К тому времени отец умер, я стала помогать матери шить. Женщинам нужен мужчина в доме. Если вас это интересует, то могу сказать, что никакой особой любви между нами не было, но постепенно мы привязались друг к другу. Был он спокойный, очень услужливый. Дома, бывало, все сделает, починит... Для нас с Улей это большая потеря.

— Родные у него были? Отец? Мать?

— Всех его родных в войну поубивали. Он и говорить об этом не хотел, хотя Уля расспрашивала... «Не хочу, — сказал, — вспоминать об этом кошмаре...»

— И вы ничего не знаете?

— Как-то раз... — она остановилась, словно усомнившись в своем праве доверить постороннему тайну покойного мужа.

— Говорите, — настаивал Левандовский. — Расскажите мне все. Она может пригодиться.

— Как-то он разговорился. Давно, очень давно. В добрую минуту... — она вновь остановилась. Левандовскому показалось, что ее голос окрасился чувством. — Его отец был врачом в маленьком городке, далеко, за Львовом. В больнице, где он работал, какого-то молодого фельдшера обвиняли в злоупотреблениях. Это было еще до войны. Отец мужа вступился за этого фельдшера, отстоял его, сблизился с ним, заботился о нем... А когда пришли гитлеровцы, фельдшер выдал их всех, всю семью. Донес, что они связаны с подпольем. Один только муж спасся случайно...

Женщина умолкла.

— У него совсем никого не осталось? — понизив голос, спросил Левандовский.

— Никого.

— Даже знакомых?

— Старых знакомых не было. Да и новых тоже. Он ни с кем не встречался, мы нигде не ходили...

— Никуда? Никаких знакомых? Ни одной фамилии не можете назвать? — удивился поручик, однако она упорно стояла на своем. Ни с кем у них не было ничего общего. Разве что у него с товарищами по работе, но она к этому непричастна...

Женщина явно отстранялась от убитого. Казалось, сейчас она озабочена главным образом тем, чтобы ее не тревожили в связи с этим таинственным, запутанным делом. Ей нужен покой, и она его защищает. А может быть, попросту что-нибудь скрывает? У Левандовского возникла и такая мысль.

Чтобы избежать формального обыска, он попросил разрешения просмотреть бумаги, оставшиеся после убитого.

— У меня нет ключа, — заявила женщина. — Ключ от своего ящика он всегда носил с собой.

Поручик вынул из кармана связку ключей в металлическом чехле.

— Который?

Она сама подобрала ключ. Бумаг в ящике было немного. Но и не так уж мало. Перебирая их, равнодушно откладывал в сторону и договоры о найме квартиры, квитанции об уплате за услуги, школьные свидетельства дочери, хранившиеся в плотном конверте, редкие письма от жены, написанные, когда она уезжала отдыхать. Левандовский потерял было надежду, что найдет что-нибудь, что сможет стать путеводной нитью. Как вдруг на самом дне ящика он наткнулся на простой белый, слегка пожелтевший конверт, в котором лежала книжечка. Это была немецкая «кеннкарте», гитлеровское удостоверение личности периода оккупации. Три серые странички. Имя, фамилия: Анджей Кошух. Дата рождения та же, что в паспорте: 1915 год. Место рождения, выдачи документа и жительства Анджея Кошуха одно и тоже — город Б.

Город Б.! Левандовский хорошо знал географию страны, даже довоенную. Ведь столько довоенных драм и дел перенеслось в наше время, и их финал разыгрывается теперь в милицеских расследованиях и документах! Б. — маленький городок, где наверняка все друг друга знали! Сколько людей еще помнит, что происходило до войны в маленьком городке? Где эти люди сейчас? Первый след прошлого — «кеннкарте» — Левандовский спрятал в карман.

\* \* \*

Первый след! Но с кем потом ни беседовал поручик, никто не помог ему. После каждого разговора он долго всматривался в снимок на оккупационном документе. Лицо было моложе на двадцать, а то и больше лет по сравнению с тем, которое он увидел в номере гостиницы «Съвит», а волосы — точно такие же. Точно так же причесаны, такие же густые и на снимке времен оккупации, и на снимке в паспорте, и в парике, хотя и сделанном заново театральным парикмахером, однако, по желанию Кошуха в точности воспроизводящем старый парик. «Итак, можно предполагать, — рассуждал Левандовский, — что уже тогда Кошух с помощью парика изменял свою внешность. Кто знал его настоящее лицо? Кто, кроме убийцы?»

Среди служащих дирекции машиностроительного завода поручик не нашел такого человека.

Начальник отдела, в котором работал Кошух, отзывался о нем очень положительно: незаметный, тихий, спокойный, очень добросовестный работник, выполнявший все задания. Левандовский без труда расшифровывал подтекст такой прекрасной характеристики: Кошух умел слушать, а возражения, если они у него возникали, держать при себе. Служивцы были крайне изумлены. Конфликт, достигший такой остроты разрешившийся убийством, абсолютно не подходил, на их взгляд, к тому Анджею Кошуху, с которым они проработали много лет. Кошух мог погибнуть от несчастного случая — это вполне естественно, но что Кошух восстановил кого-то против себя — это не укладывалось в их сознании. Поручик расспрашивал ближайших сослуживцев убитого, с которыми он годами сидел в одной комнате, пока не перебрался, незадолго до автомо-

бильной катастрофы, в маленький собственный кабинет, поскольку его повысили в должности. В ящиках письменного стола Кошуха не было ничего заслуживающего внимания. «О чем вы с ним разговаривали?» О жене, о дочери, о повседневных делах, о новом фильме или заметке, прочитанной в газете, — неизменно повторялись все те же варианты. Кошух не сплетничал, не интересовался личной жизнью сослуживцев. Порой они даже удивлялись и за глаза называли его бирюком. А дома? Дома никто у него не бывал. «Его жена дорого берет, такая портниха нам не по карману», — с оттенком обиды и зависти говорили сослуживцы. Сам он, однако, не был элегантным мужчиной и выглядел как старый холостяк. Кошух вносил свою долю, когда они покупали друг другу подарки на день рождения, но домой он никогда ни к кому не ходил. Иной раз, правда, забегал в соседний бар выпить кружку пива. Есть несколько человек, с которыми он пил пиво. Левандовский разыскал их. Все они были сослуживцами Кошуха, но ни один не считал себя его приятелем. «О чем он с вами разговаривал?» — нетерпеливо допытывался поручик. Те только разводили руками. О чем говорят за кружкой пива? О женщинах... И Кошух, бывало, расскажет, как все, про свои успехи по этой части. С кем он был в интимных отношениях? «Джентльмен не скажет с кем», — смеялись мужчины. Конечно, не только о женщинах шел разговор. Говорили и о международном положении, и о правительстве, ругали немцев... Как все, так и мы. Ничего больше Левандовскому не удалось от них добиться. Круг замыкался, все сходилось на одном: молчалив, нелюдим. Он никому не делал подлостей, напротив, всегда помогал другим, никому не становился поперек дороги. Один из любителей пива выразился образно: «Он гнулся, как тростник, каждому поддакивал, никому не противоречил». «Уж слишком он был вежливый, до приторности! — сообщила Левандовскому сослуживица Кошуха, сидевшая с ним когда-то в одной комнате. — Мужчине положено иметь определенный взгляд на вещи, прикрикнуть, когда потребуется, настаивать на своем. А этот... Если нам случалось поссориться, он никогда не вставал на чью-либо сторону. И только улыбался, когда я говорила, что у него нет собственного мнения даже о погоде. Просто невозможно себе представить, что такого человека убили!»

«Что вы можете сказать относительно кражи на вашем предприятии? — выспрашивал Левандовский у директора. Тот пожимал плечами: «Вы требуете от меня невозможного, добиваетесь показаний о кражах, о которых мне самому ничего не известно. Если бы я что-нибудь знал, у другого вашего сотрудника куда раньше было бы работы по горло». — «А махинации при поставках? Взятки?» — «Не исключено, однако, как показывает опыт, хищения обычно имеют место в торговле товарами широкого, массового потребления. А что у нас можно украсть? Станок? Вагон? Взятки за прием некачественного сырья? Взяточки — люди расчетливые. Левый заработок? С удовольствием. Убийство? Думаю, что на это они не пойдут».

Кто знал, что Кошух в середине января поехал на попутной машине, вместо того чтобы, как всегда, ехать в команди-

ровку на поезде? Кто, кроме водителя? Референт признался без каких-либо уверток: «Дело было так, пан поручик... Кошух пригласил меня в бар и спросил, может ли он воспользоваться случаем и поехать с шофером, который завтра отправится в порт. Я согласился. Есть место, так пусть едет. Только велел ему пометить в командировочном удостоверении, что он ехал на служебной машине...»

Прошрое?

Об этом никто ничего не знал. В отделе кадров поручик листал анкеты и документы Кошуха. Кто его принимал на работу? Все перерыли и не нашли следа. С тех пор трижды проводилась реорганизация отдела снабжения и сбыта. Сменились четыре генеральных директора, а Кошух был давно, был всегда. В его личном деле не хватало первоначальных документов. Кошух не отличался словоохотливостью, документы пропали, прошлое отрезано от настоящего. Анкеты однообразные: родился в Б., там же кончил среднюю школу. До войны не принадлежал ни к какой организации. В Сопротивлении не участвовал. Не участвовал? В анкете писал одно, а жене говорил другое? Вспоминал о партизанском отряде, о событиях, завершившихся трагическими потерями, а здесь черным по белому: нет. Трещина. Анкета становится подробнее в части, касающейся послевоенных лет. В 1946 году Кошух уже проживает в Познани, в 1947 году приступает к работе на этом заводе. Документа, на основании которого его оформили на работу, нет. Тогда принимали на завод столько народу! Принимали каждого, кто хотел.

Итак, никаких данных...

Есть еще одно место, где хранятся документы, — паспортный стол. Там бумаги не пропадают. Поручику дали тощую папку. Фотографии? Левандовский разложил бумаги рядом на столе и смотрел на них, машинально переводя взгляд с документа на документ, с «кеннкарте» на бланк, содержащий анкетные данные. На «кеннкарте» отпечатки пальцев — и на бланке в паспортном столе отпечатки пальцев. Как вдруг...

Поручик вскрикнул. Работник архива подал ему увеличительное стекло. То, что поручик заметил невооруженным глазом, подтвердилось: отпечатки пальцев были не одинаковые. Отпечатки пальцев Анджея Кошуха, 1915 года рождения, уроженца города Б., оставленные на оккупационном документе, отличались от отпечатков пальцев человека с той же фамилией и той же датой рождения, получавшего семь лет назад паспорт в милиции. Какие же из них были отпечатками пальцев мужчины, убитого ударом кинжала в сердце?

\* \* \*

Майор Кедровский вызвал всех своих сотрудников.

— Левандовский сделал в Познани сенсационное открытие. Начнем с основных фактов, установленных нами тут, на месте, — так начал майор совещание.

Чьи отпечатки, чьи следы обнаружены в комнате? Огромное количество. Отпечатки пальцев прежних жильцов этого номера, прекрасно сохранившиеся на небрежно вытертой мебели.



Старые отпечатки под новыми. Горничных — идентифицированы. Грычера из воеводской газеты — идентифицированы. Служащего судовой Познанского — идентифицированы. Доктора Смоленского — идентифицированы. Жены, даже не подозревавшей, с какой целью поручик Левандовский, представляясь, протянул карточку, тоже идентифицированы. Отпечатки самого Кошуха остались повсюду. И еще одни — очень свежие, на столе и на кресле, не идентифицированные. Неизвестного, условно названного мужчиной со шрамом на носу. Так можно предполагать, хоть и нельзя утверждать с полной уверенностью.

Никаких отпечатков нет ни на кинжале, ни на парике.

На пачке сигарет «Спорт», купленных явно незадолго до убийства, сохранились отпечатки пальцев только одного человека, к тому же полустертые. Есть основания предполагать, что эти отпечатки пальцев продавца, который вытаскивал пачку из большого фабричного пакета и передал... кому-то, не оставившему на ней следов. Ведь на пачке сигарет должны быть отпечатки пальцев двоих: продавца и покупателя. Нет, следовательно, отпечатков пальцев четвертого, а может быть, пятого мужчины, побывавшего у Кошуха. Возможно, что четвертый, оставивший множество отпечатков на мебели, действовал потом в перчатках. Возможно, что убийство совершил кто-то другой, пятый. Вопрос пока не выяснен.

Алиби? У персонала гостиницы, работавшего в вечернюю смену, нет никакого алиби. Но нет и никаких мотивов убийства. Милиция не может исключить виновности этих людей, однако доказательств их вины у нее нет. Грычер дежурил по редакции. Редакция недалеко от гостиницы. Он мог выйти на четверть часа и вернуться так, что никто этого не заметил. Вечером, в вестибюле гостиницы толчется столько народу, что кто угодно может незаметно подняться по лестнице и через несколько минут выйти на улицу. Все его видели, и никто не помнит. Алиби у Грычера шаткое. Но опять же — никаких мотивов. Кажется, они действительно познакомились только в больнице. Однако не исключено, что были знакомы и раньше. Кошух много лет ездит сюда в командировки. Грычер постоянно живет в этом городе. Познанский? Алиби как будто бы не вызывает сомнений. Навестив Кошуха в гостинице, он поехал домой, на дальнюю окраину. Его жена управляла именины, были гости — соседи, родня. Гостей допросили. Познанский никуда не отлучался, разве что все они сговорились. А если он все же сумел незаметно съездить на несколько минут в город? Возможно, но только на машине, и то потребовалось бы довольно много времени. Возможно, однако мало правдоподобно. Доктор Смоленский? Алиби нет. Живет он один, поблизости от гостиницы. Часов в девять, как каждый вечер, вышел пройтись. Жена бросила его несколько месяцев назад. Отсутствие алиби зачастую лучше всякого алиби. Вот именно! Сплошные вопросы, никаких ответов. По-прежнему не хватает четвертого...

— Кто из них курит «Спорт»? Анализ окурков показал, что Грычер курит «Гевонт», Познанский — «Клуб», — товарищи информировали Левандовского о результатах исследований, проведенных во время его пребывания в Познани.

— Доктор Смоленский курит «Кармен», а Кошух вообще не курил, — подхватил Левандовский.

— Отсюда вывод, что «Спорт» курит четвертый, и выглядит он примерно так...

Майор Кедровский развернул на столе портрет мужчины со шрамом на носу. Показания портье сопоставили с показаниями медсестры. Оба выбрали сходные элементы, из которых художник составил портрет. Портье и сестра подтвердили достоверность рисунка: да, именно такой мужчина бывал у Кошуха в больнице, именно такой мужчина заходил к нему в гостиницу, был и в последний день... Портье даже вспомнил, что видел его вечером.

Поручик Левандовский вгляделся в воссозданные портретистом черты неизвестного. Вгляделся — и снова его охватила дрожь.

— Лубий! — воскликнул он, торопливо доставая из портфеля фотоснимок, который позавчера нашел в картотеке паспортного стола в Познани, когда просматривал документы людей, каким-либо образом связанных с Кошухом. Об этом своем открытии, пожалуй, самым важным, он еще не успел доложить. И внезапно перед собой нарисованное лицо Лубия! Сходство было огромное: наиболее ярко выраженные черты совпадали, совпадала и особая примета — шрам на носу.

— Кто это?

— Александр Лубий, знакомый Кошуха, которого он пригласил в суд в качестве свидетеля и который впоследствии исчез...

— По порядку! Спокойно!

Левандовский рассказал о познанских открытиях, уже подтвержденных экспертизами.

Отпечатки пальцев на оккупационном документе Анджея Кошуха действительно не имеют ничего общего с отпечатками пальцев Анджея Кошуха на учетном листке в познанской милиции и с папиллярными линиями убитого. Анджей Кошух, убитый в гостинице «Съвит», — тот самый человек, которому семь лет назад выдали паспорт в Познани.

Почему же в Б. кто-то другой отпечатал свои пальцы?

— Почему Анджей Кошух отклеил и уничтожил фотокарточку, первоначально помещенную на оккупационном документе, вклеив на ее место новый снимок? При анализе обнаружены два вида клея. Означает ли это, что на первой фотографии Анджея Кошух был снят без парика?

Почему подпись Анджея Кошуха на «кенняккарте» не совпадает с сотнями его подписей в платежных ведомостях, при прописке, на документах, найденных в ящике у него на квартире, наконец, с подписью в паспорте?

Разные подписи, разные отпечатки пальцев, подмененный фотоснимок...

Но и это еще не все.

В 1953 году, когда ему выписывали паспорт, Анджей Кошух, житель Познани, служащий машиностроительного завода, не мог представить метрики. Метрические книги католического прихода в Б. пропали во время войны. Анджею Кошуху пришлось удостоверить свою личность, время и место рождения су-

дебным порядком. Это не так уж сложно, достаточно двух свидетелей. Кошух привел свидетелей: Александра Лубия и Корнеля Закшевского. Из протокола судебного заседания следует, что оба они родом со Львовщины, хотя из разных мест. Оба единодушно показали, что знали Анджея Кошуха во Львове еще гимназистом и студентом. Оба подтвердили, что он родился в Б. Оба дружили с ним во Львове в довоенные годы. На основе их показаний суд выдал Кошуху соответствующую справку. В то время Лубий и Закшевский жили в Познани. Лубий — автомеханик, Закшевский работал в бухгалтерии небольшого промкооператива. Лубий шесть лет назад переехал из Познани в Гдыню, оттуда перебрался в Кошалин. Год тому назад он уехал из Кошалина, где по-прежнему прописан и... с тех пор не появлялся, даже не подал о себе вести... Но побывал у Кошуха и в больнице, и в гостинице. Возможно, он курит «Спорт»!

— Следовало бы сравнить отпечатки пальцев неизвестного с отпечатками Лубия в паспортном столе.

— Действительно, следовало бы. Придется послать за ними в Познань. Теперь о Закшевском. Полгода назад его убили. Тело нашли под утро в познанском городском парке. Закшевского задушили. Преступник действовал в перчатках. Из кармана убитого взят бумажник, это позволяет предполагать, что убийство совершено с целью ограбления. Согласно показаниям жены убитого, у него в бумажнике было около пятнадцати тысяч złotych. Убийца до сих пор не найден.

Какое странное стечение обстоятельств!

Оккупационный документ — фальшивый. Паспорт выдан на основании свидетельских показаний, и вот один из двоих свидетелей убит. Кошух вскоре после убийства Закшевского попадает в автомобильную катастрофу. Врачу удается спасти его — и после этого Кошуха убивают. Серия случайностей? Или серия преступлений? Третий бросил свою квартиру и затаялся. Можно предположить, что он был последним человеком, с которым виделся Кошух.

— Жена Кошуха не узнала на снимках ни Лубия, ни Закшевского. Она утверждает, что никогда не видела их в обществе своего мужа. По ее словам, ей вообще почти не приходилось сталкиваться со знакомыми мужа. Либо она что-то скрывает, либо говорит правду. Упрямо повторяет одно и то же. И плачет. Прокурор велел задержать ее. Так что же мы предпримем?

Майор Кедровский распорядился:

— Немедленно разослать фотографию Лубия и его портрет в органы милиции и на контрольно-пропускные пункты пограничных войск.

\* \* \*

Застрекотали милицейские телетайпы. Приказ Главного управления всем органам милиции: «Установить, есть ли в их районе люди, проживавшие до войны в городе Б. на реке Стрипа. Сообщить фамилии».

Через три дня поступили первые донесения, преимущественно из Нижней Силезии, все — из малых городов.

— Анджей Кошух? Анджей Кошух? — пожилой мужчина вспоминал с трудом. — Да, я знаю эту фамилию, с чем-то она у меня ассоциируется, но опасаясь, что больше ничего не сумею вам сказать...

— Он учился в вашей гимназии? — Левандовский старался помочь бывшему директору гимназии в Б.

— В моей гимназии? Валя! — позвал он жену. — Ты не помнишь, учился ли у нас Анджей Кошух? Жена тоже преподавала в гимназии, — добавил хозяин дома, обращаясь к поручику.

— Анджей Кошух, 1915 года рождения, — громко повторил Левандовский. — В 1942 году он наверняка был в Б.

— Кошух? — Женщина вбежала в комнату, держа чайник в руке. — Это же столяр, который нам делал полки! У него мастерская была по ту сторону шоссе.

— И Анджей, вероятно, его сын... Но разве он учился в нашей гимназии? Нет, в гимназии у нас Анджея Кошуха не было, но столяр с такой фамилией в городе был. А у этого столяра был сын?

— Не помню...

— ...Столяр Кошух? Был такой, а как же. Я его прекрасно помню. Он всю столярную работу делал у меня в аптеке.

У старого аптекаря из Б., который на покое разводит цветы, поселившись в Силезии, в заводском районе, память оказалась лучше, чем у директора гимназии.

— ...Столяра Кошуха убили украинские фашисты под конец войны. Это был очень порядочный человек. Сын у него, безусловно, был... Но я этого сына не видел годами. Кажется, он жил в Варшаве...

Напрасно поручик радовался! Кошух вновь ускользал от него... Человек, промелькнувший в городке, как тень, не оставив по себе никаких воспоминаний. А все же именно в Б. ему выдали немецкое удостоверение личности, значит, он был там, жил там. Анджей Кошух, сын столяра...

\* \* \*

— Нет, пан поручик, это был не его сын. — Такой категорический ответ поручик услышал от инженера автозавода, мужчины лет сорока, чье детство и военная юность прошли в Б. — Анджей Кошух был старше меня на несколько лет. У столяра детей не было. Анджей — его племянник, который еще в первую мировую войну уехал с родителями из Б. и действительно перебрался к дяде, когда немцы захватили Львов. Я лично не был с ним знаком, но много слышал о нем от пани Фигур. Она вам все скажет, они были очень близки. Ева вышла за врача, живет во Вроцлаве...

\* \* \*

— Вы знали Анджея Кошуха? — спросил он красивую элегантную брюнетку. Левандовский пришел к ней утром, когда она была одна дома. Поручик заметил, как взволновало ее это имя.

— А вы его знали?

— Я его не знал. Но нам хотелось бы узнать о нем как можно больше.

— Столько лет спустя? — удивилась женщина. — Это скорее могло бы заинтересовать историков...

— Историков? — поморщился поручик. — Историкам принадлежит прошлое, а судьбами живых занимаемся мы... Еще две недели назад пан Анджей Кошух...

— Анджей?! Он жив? Где он? — Она вся озарилась внутренним светом. — Где же он? Где? Анджей...

— В Познани, он жил там с 1947 года. — Левандовский уже понял, что его опять постигла неудача.

— Он жив — и не попытался разыскать меня? Это невозможно!

Без лишних слов он положил перед ней паспорт Анджея Кошука, выданный в Познани в 1953 году.

Она взглянула. Прочла имя и фамилию. И, успокоившись, подняла глаза на гостя:

— Конечно, это недоразумение. Этот человек даже отдаленно не напоминает Анджея.

— А этот? — Левандовский протянул ей «кеннкарте» — документ, выданный в Б. в 1942 году жителю Остланда Анджею Кошуху, 1915 года рождения.

Она взяла «кеннкарте» в руки. Внимательно присмотрелась к оккупационному документу.

— У нас у всех были такие «кеннкарте». Возможно, что это «кеннкарте» Анджея. Все совпадает, даже адрес. Он приехал из Львова летом сорок первого. Мы очень дружили. Он был старше меня. Мы вместе участвовали в Сопротивлении. Анджея арестовали в 1943 году, гестаповцы увезли его в Станиславув, там он сидел в тюрьме, и там его убили. А это, — она постучала пальцем по фотографиям на обоих документах, — вовсе не Анджей! Это совсем другой человек.

— Вы в этом вполне уверены?

— В том, что Анджея убили? Сколько я ночей тогда плакала! Мне было восемнадцать лет. Я не верила в его смерть. Я сходила с ума. Это не Анджей. Посмотрите! — Она открыла ящик письменного стола, вынула папку, среди множества писем и фотоснимков отыскала карточку. Молодой человек в расстегнутой рубашке сидел в лесу на пенке, стоящая сзади девушка держалась руками за его плечи. Левандовский узнал в ней свою собеседницу.

— Вот Анджей незадолго до ареста.

Достаточно было одного взгляда: убитый в гостинице «Сьвит» — муж познанской портнихи, служащий машиностроительного завода — не был Анджеем Кошухом из города Б. на реке Стрипе.

\* \* \*

— Простите, что я отнимаю у вас время, — начал Левандовский, представляясь адвокату. И, поскольку говорил с юристом, сразу перешел к сути дела: — Вы знакомы с пани Фигур?

— Фигур? Женой врача?

— В студенческие годы Ева Жвано...

— Вот именно, в студенческие годы мы были знакомы. Впрочем, вряд ли это можно назвать знакомством. Я разговаривал с ней один-единственный раз. Мы встретились здесь, во Вроцлаве.

— А сами вы из Станиславува?

— Да. Я там учился.

— И там сидели в гестапо?

— Совершенно верно. Кстати сказать, пани Жвано расспрашивала меня...

— Потому-то я к вам и пришел! Она расспрашивала вас...

— Об Анджее Кошухе. Мы сидели с ним в одной камере. Его расстреляли.

— Вы помните его? — Поручик разложил на столе пять фотографий разных мужчин. — Который из них?

Адвокат всмотрелся в фотографии и указал на лицо, пересятое с карточки, которую на время предоставила в распоряжение милиции пани Фигур.

— Вы хорошо его знали?

— Мы с вами, поручик, отдаем себе отчет в том, что в тюремной камере люди не сходятся по-настоящему. А уж тем более в гестапо. Я знал его просто как товарища по несчастью.

— Что же с ним случилось?

— С допроса его принесли к нам в камеру избитого до такой степени, что на нем живого места не осталось. Это был настоящий герой. В сентябре 1943 года его вынесли из камеры, потому что после пыток он еле двигался. И больше он к нам не вернулся. Мы только слышали, как отъезжала машина. На следующий день заключенные, работавшие в канцелярии, сказали, что его и еще человек пятнадцать, взятых по разным делам, расстреляли в пригородном лесу.

— А с этим человеком вам не приходилось встречаться? — Левандовский указал на соседний снимок — Анджея Кошуха с «кеннкарте».

— Нет, — адвокат пожал плечами, — никогда в жизни.

— Ну а вот этого вы когда-нибудь видели? — Поручик вытащил еще одну фотографию — убитого. Без парика, с лысой головой.

— Это то же лицо, — заметил юрист с профессиональной наблюдательностью. — Но я его впервые вижу. К сожалению, ничем не могу вам помочь.

\* \* \*

Объявления о розыске размножают в тысячах экземпляров, печатают в газетах, выходящих миллионными тиражами. По объявлению о розыске скользят глазами миллионы людей, которые не обратят на него никакого внимания, тогда как оно адресовано одному-единственному человеку, в лучшем случае — нескольким, тому, кто точно знает, чья это фотография. Объявление о розыске предназначено одному человеку, хотя оно доводится до сведения миллионов.

Это объявление о розыске разослали работникам органов безопасности и охраны общественного порядка, следственных органов. Главное место в нем занимали четыре фотографии: одно и то же лицо анфас и в профиль, с волосами и без во-

лос. Две последние пришлось реконструировать, поскольку посмертного снимка рассылать не следовало, а никакой фотографии убитого без волос у него на квартире, разумеется, не нашли. Предлагалось расспрашивать население, особенно репатриантов из Восточной Галиции, не припомнят ли они такого человека.

А в северном портовом городе напрасно ожидали вестей. В жаркий летний день еще раз собрался штаб следствия, на который прибыл из Варшавы офицер Главного управления.

— Мы этого ожидали, — сказал майор Кедровский раскачиваясь в кресле, — с тех пор, как установили несоответствие папилярных линий в документах и два вида клея в «кеннкарте». Однако... Во время оккупации «кеннкарте» поддельвали многие, но один принцип соблюдался неукоснительно: и в фальшивом удостоверении фотокарточка и отпечатки пальцев должны принадлежать тому, кто его предъявляет. Ведь это было легче всего проверить в случае провала или просто облавы. Следовательно, наш Икс, Йгрек или Зет не пользовался этим документом в порядке оккупации. Он обзавелся им потом, быть может, в последние дни оккупации, так как по тем или иным соображениям хотел или был вынужден скрыть свою настоящую фамилию.

— И настоящую внешность. Парик!

— Да, и внешность тоже. На фотокарточке в «кеннкарте» мы видим его уже в парике. Значит, он успел заблаговременно сняться в парике.

— Может, он и прежде носил парик?

— Вполне возможно.

— А как он раздобыл «кеннкарте» человека, расстрелянного в 1943 году в Станиславуве?

— Знай мы это, мы бы знали все. Надо рассуждать логически. Удостоверение личности казненного, видимо, находилось в архиве гестапо в Станиславуве. И тут возможно несколько вариантов. Либо это...

— Гестаповец! — торжествующе закричал Левандовский.

— ...Либо человек, укравший документ при эвакуации гестапо.

— Не исключено, что удостоверение доехало до Германии и вернулось к нам с Запада вместе с этим человеком, — эта версия еще больше устраивала поручика.

— Нет, — возразил Кедровский. — Если бы его заслали сюда в 1947 году, все бумаги были бы у него в идеальном порядке. Специалисты не делают таких промахов с отпечатками пальцев, не говоря уже о подписи, и не оставляют на документе двух слоев клея.

— Может, он сам сфабриковал себе удостоверение...

— ...И вернулся в Польшу для того, чтобы годами маскироваться? На Западе ему легче было скрываться. Нет! Я думаю, что он попросту не смог отсюда выбраться. Такие случаи бывали.

— Гипотезы, — буркнул Левандовский.

— Что же нам еще остается? Мы не нашли преступника — и потеряли жертву. Вместо одной загадки надо решать две. Уравнение с двумя неизвестными.

— В такой системе уравниваний для большей точности сначала «икс» выражается «игреком». Итак, предположим, что Кошух нам известен, и пойдем назад по вещественным следам самого преступления. Заберемся как можно дальше в прошлое, поскольку сорванный парик указывает на прошлое. Прежде чем мы разыщем четвертого мужчину, который был в тот день в номере убитого, надо разобраться с тремя другими: журналистом, служащим верфи и доктором. Доводя вопрос до абсурда, следует подозревать всех троих одинаково. И искать четвертого. Попытаемся рассмотреть вблизи жизнь каждого из этих трех человек: журналиста, служащего верфи, врача...

— Но только так, чтобы не спугнуть их! Это очень важно.

\* \* \*

— ...Товарищ майор! — докладывал по телефону из управления дежурный офицер. — Вы ведете дело об убийстве в гостинице «Съвит»? Тут гражданка одна явилась, из типографии, хочет дать показания.

— Через четверть часа буду в управлении. Пусть ждет! Пусть непременно меня дожждется!

Майор проработал в милиции около пятнадцати лет, и весь его следовательский опыт свидетельствовал о том, что, если в управление в десять часов вечера приходит женщина, которая хочет дать показания, это всегда означает открытие каких-то новых фактов. Женщине больше нелегко сохранять тайну, ей нужно поскорее снять тяжесть с души, и она прибегает в милицию именно вечером, украдкой, чтобы никто ее не заметил.

— ...Вы ко мне? — Майор указал женщине на кресло.

Она присела на самый краешек и не знала, как начать. Майор помог ей:

— Вы работаете в типографии?

Женщина утвердительно кивнула.

— Вы знаете журналиста Грычера?

— Потому-то я и пришла.

— Откуда вам известно о преступлении в гостинице «Съвит»? — Он хотел это выяснить, поскольку милиция старалась по возможности не привлекать внимания к расследованию алиби Грычера.

— Я узнала случайно, от соседки. Ее знакомая работает в «Съвите».

— Понятно. Продолжайте, пожалуйста.

— Она рассказала мне об убийстве неделю назад. А я... А я, пан майор, сказала неправду! — с отчаянной решимостью призналась женщина.

— Кому? — Майор притворился удивленным, хотя уже обо всем догадывался.

— Я работаю в типографии вахтером...

Майор принял это к сведению.

— Меня вызывали в отдел кадров. Уже давно... И спрашивали обо всех, кто вечером 15 мая входил и выходил из типографии. Я тогда ни о чем понятия не имела... Ни о преступлении в гостинице, ни о том, что Грычер там был... — Женщина очень волновалась, ей не хотелось подводить журналиста, и в то же



время она боялась, как бы ее не привлекли к ответственности за ложные показания. — Я тогда сказала, что он никуда не отлучался. А на самом деле он...

— Грычер? — уточнил майор Кедровский.

— Грычер... Он вышел около девяти и отсутствовал целый час.

— Почему же вы об этом умолчали?

— Да ведь, думалось, зачем болтать лишнее, у человека будут неприятности... Я знаю, ну, он изменяет жене. И встречается с той, с другой, во время дежурства. А он, оказываясь, был в гостинице. В тот самый вечер.

— Вам придется подписать протокол, — предупредил майор. Женщина уже не сдерживала слез, она плакала открыто, не таясь. Кедровский успокаивал ее, уверяя, что никто об этом не узнает.

Он поспешно записывал ее показания.

— Часто Грычер выходил, когда был дежурным редактором?

— Нет, изредка. Но его девушку я знаю в лицо. Она иногда ждет его у проходной...

Итак, Грычер утаил, что отлучался на целый час. В типографии никто его не выдал. Может быть, для дела этот факт не имеет ровно никакого значения. А может быть?.. Сын крестьянина из-под Быдгощи, Грычер, в то время еще мальчик, всю оккупацию прожил в деревне у отца. Только за год до освобождения его отправили в Познань на завод, тот самый, где впоследствии работал Кошух. Однако парень появился там в последний раз накануне вступления поляков в Познань. Он добровольцем пошел в армию, участвовал в боях на Западных землях, дошел до Одера. После демобилизации сдал в Торун экзамены на аттестат зрелости, там окончил юридический факультет и к ним, в портовый городок, приехал уже журналистом. Никогда его жизненные тропы не пересекались с тропами Кошуха. Один лишь раз, в больнице, вне всякого сомнения — случайно. «Но не встречались ли они в нашем городе раньше? — думал майор Кедровский. — Не была ли встреча в больнице случайным продолжением давнего знакомства? Что в действительности связывало Грычера с Кошухом? Почему он утаил от следствия этот час? Почему? Из джентльменских побуждений, чтобы уберечь даму сердца от неприятных расспросов, а также для самозащиты, чтобы не нарушать домашний покой?»

Он пододвинул женщине протокол на подпись.

\* \* \*

Вызванный к майору Левандовский избежал по лестнице, прыгая через три ступеньки. Еще бы, обнаружен четвертый! Спрашивают, что с ним делать.

— Поступайте как сочтете нужным. Мы можем взять его, а можем и понаблюдать. Нельзя только допустить, чтобы он ускользнул или понял, что вам о нем кое-что известно. Наши люди с него глаз не спускают.

Майор Кедровский представил поручику широкие полномо-

чия, и тот стал энергично готовиться к поездке. Он вызвал портье из «Съвита» и медсестру воеводской больницы. Они понадобятся для опознания четвертого гостя Кошуха. Но каждый из них поедет отдельно.

Три легковые машины двинулись в путь. Через полтора часа они должны быть на месте. Надо объехать широкий залив, чтобы добраться до города, стоящего на самом берегу моря. Оттуда сегодня сообщили, что найден четвертый мужчина — человек со шрамом на носу. Левандовский в головной машине подгонял водителя.

— Все равно доедем быстрее, чем на моторке, — успокаивал его шофер. — А вертолета у нас нет.

В местном управлении милиции подготовили основные данные. Александр Лубий — имя и фамилия соответствовали фотоснимку, хотя это далеко не всегда бывает, — по всем правилам оформлен и работает шофером на автобазе, временно прописан в общежитии, постоянно в Копалине. Ездит Лубий на «зубре». Все совпадает. Донесение поступило вчера во второй половине дня, вечером собрали информацию. Лубий ведет себя спокойно, за последнее время ничего особого за ним не замечено. Сейчас Лубий пьет в «Балтийской».

В «Балтийскую» Левандовский зашел сначала один. В битком набитой, дымной, темной, третьеразрядной пивнушке он разглядел наконец человека, лицо которого знал по фотографии. Плечистый мужчина в кожаной куртке, со шрамом на кончике носа, сидел, опершись о стенку, лицом к залу, боком к своему собутыльнику, и громко разглагольствовал. Это ли убийца мнимого Анджея Кошуха? Знающий прошлое того, кто называл себя Анджеем Кошухом? Когда-то в суде, дав присягу, он свидетельствовал, что знаком с Анджеем Кошухом много лет. Известно ли ему все то, что хотелось бы узнать поручику Левандовскому?

Левандовский вышел на улицу, к машине, где его ждал портье «Съвита», и подробно объяснил тому, что следует сейчас делать. Они вместе сядут за столик поблизости от Лубия. Пусть портье к нему присмотрится. Его ответ будет записан в протокол.

— Пива, две кружки.

Портье, исполненный сознанием своей высокой миссии, выцедил всю кружку и медленно, значительно покивал.

— Этот? — спросил Левандовский, как только они вышли из ресторана.

— Этот! Наверняка.

— Протокол подпишете?

— Подпишу. С чистой совестью подпишу.

Лубий был занят разговором с собутыльником. Поручик ввел в ресторан медсестру. Она не отличалась яркой внешностью — никто и не обернулся.

— Это тот самый человек, который приходил к пану Кошуху в больницу, — подтвердила женщина, когда они вышли на улицу.

Он! Что же дальше? Левандовский отослал свидетелей и поспешно отдал распоряжения своим людям. Еще не зная, с какой целью, не зная, зачем, он стремился немедленно, сейчас

же, поговорить с Лубием. Сесть с ним рядом, взглянуть ему прямо в лицо, прежде чем наденет на него наручники, поговорить с ним как равный с равным.

— Ждите! — приказал поручик. — Когда я выйду с этим типом и мы остановимся с ним на тротуаре, пусть подъедет машина. Водитель предложит подвезти нас. Он подумает, что берем «левака».

И вот Левандовский вновь лавирует в толчее «Балтийской». За ним в отворенную дверь проскользнули агенты. Поручик еще раньше приметил свободное место за столиком Лубия.

— Разрешите?

Занятые разговором, собеседники кивнули.

— Пива и сто грамм! — заказал Левандовский.

Разговор шел, конечно, об автобазе и о девушках. Оба — шоферы. Они толковали о своем начальстве, сравнивали достоинства девиц, обсуждали свои дела. Все это не интересовало Левандовского. Он ждал лишь подходящего момента, чтобы вступить в разговор.

Случай вскоре представился.

— Спички есть? — спросил Лубий.

— Пожалуйста. Может, моих закурите? — Поручик предложил «Гевонт». Второй шофер взял. Лубий отказался.

— Я только «Спорт» признаю, — объяснил он.

Наскучив друг другу, они были рады третьему собеседнику. Левандовский представился, неразборчиво пробормотав фамилию. Он проявлял щедрость командированного. Они не удивились: обычное дело. Заказав еще по сто граммов, поручик сразу уплатил официантке. Пусть они не думают, что он надеется выпить за их счет. А главное — теперь он мог в любой момент уйти. Но как избавиться от лишних ушей и глаз, как остаться один на один с Лубием?

Шофер сам облегчил его положение.

— Минуточку... — он встал и удалился в туалет.

Левандовский сразу приступил к делу.

— Пан Лубий, — произнес он отчетливо.

Лубий вздрогнул.

— Вы меня знаете? — спросил он изумленно. Он не был пьян и все прекрасно понимал.

— Я увидел вас час назад. На базе мне сказали, что вы здесь.

— Вы меня искали?

— Да. Я приехал из Познани, — сказал Левандовский. — Но при нем не хочу говорить, — движением головы он указал на туалет. — Перейдем в другое место. Я уже уплатил.

— Из Познани? — Лубий не двинулся с места. Его голос звучал настороженно.

— От Анджея, — шепнул Левандовский, напряженно ожидая реакции на это имя.

— От Анджея? — переспросил Лубий, словно знал в Познани нескольких Анджеев.

— От Кошуха, — продолжал поручик. — Он дал мне адрес вашего общежития.

— Он? — Лубий впервые окинул Левандовского подозрительным взглядом. — Он не знает, что я живу в общежитии...

Почему он сказал это в настоящем, а не в прошлом времени? Но поручику некогда было раздумывать.

— Он знает, где вы работаете. Я искал вас на автобазе, там мне сказали, что вы живете в общежитии и что сейчас находитесь здесь, — отступить от этой версии было поздно, поручик лишь несколько видоизменил ее. — Пойдемте! — торопил он. — Тут не поговоришь.

Не мешкая больше, Лубий поднялся. Они быстро прошли меж столиков, окруженных людьми. Левандовский заметил, что вслед за ними устремились к выходу агенты, и забеспокоился, как бы не привлекли внимания его спутника. Они остановились на краю тротуара.

— Подвезти? — спросил водитель, высунувшись из «Варшавы».

Лубий заколебался, но не успел опомниться, как поручик ловко и бережно усадил его в машину.

— Куда поедет? — спросил он Лубия. — Вы знаете здешние рестораны? Какой, по-вашему, самый лучший?

— «Оаза».

Шеф дал газ. Левандовский выдавил из себя несколько ничего не значащих фраз о том, как вырос город. Лубий молчал, поглощенный своими мыслями.

В «Оазе» — ресторане, оставлявшем желать лучшего, было уже несколько клиентов. Приближалось обеденное время. За Левандовским и Лубием вошли еще двое мужчин. Поручик убедился, что подоспело подкрепление.

— Чего надо Кошуху? — Лубий первый приступил к делу, как только они сели за столик.

— Он просит, чтобы вы мне помогли... — К ним подошел официант, подал меню. Пришлось прервать разговор. Левандовский пододвинул меню к Лубию. Тот потребовал сто граммов и селедки. Как только официант, приняв заказ, ушел, поручик продолжал: — Видите ли, я ищу работу. В этом городе. Я заинтересован в том, чтобы остаться здесь, и хотелось бы зацепиться за какое-нибудь местечко. В долгу не останусь...

— Кошух этим занимается? — удивился Лубий.

— Чем? — Левандовский притворился непонимающим.

— Такими комбинациями...

— Каждый комбинирует как может. Кошух посоветовал мне...

— Когда?!

— Недавно. Но не вчера и не позавчера. Когда он выписался из больницы.

— Как он себя чувствует?

Кто тут кого прощупывает? Кто кого подозревает?

— Да как он себя может чувствовать?

Официант сервировал стол: расставлял тарелочки, накладывал селедку, наливал водку. Левандовский вдруг осознал, что его раздражало в Лубии. Неестественные жесты! Он резал закуску левой рукой.

— Ваше здоровье! — Левандовский приподнял рюмку.

Лубий взял свою левой рукой.

— Вы его, кажется, давненько не видели? — Поручик шел ва-банк. — Последний раз в гостинице «Съвит»?

— Он вам говорил, что я заходил к нему в гостиницу? — снова удивился Лубий. Левандовский промолчал. — Как он добрался до Познани, благополучно? — осведомился Лубий.

— Ага...

— Он побаивался ехать на машине. Очень нервный стал. Все время чего-то боялся.

— Неудивительно. После такой аварии! Психическая травма... — Левандовский ограничился общими фразами. Однако пора было развертывать наступление: — Он сильно переживал смерть Закшевского...

— И об этом он вам тоже говорил? Значит, вы его хороший знакомый. Простите, я не расслышал фамилию...

— Левандовский.

— Впервые слышу.

— Зато мне он рассказывал о вас и о Закшевском.

— Что же он про нас рассказывал?

— Многое. Ведь вы очень давно знакомы.

— Да, знакомы, как же, знакомы, — казалось, Лубий неохотно подтвердил этот факт. И вдруг переменял тему: — Вы на базе хотите работать?

— На базе.

— Водителем?

— Все равно. Могу и водителем.

— Водителем вам будет удобнее. Свободнее. В Познань посылают, в Варшаву... Извините, я отлучусь на минутку. — Лубий поднялся и направился в туалет.

Что это значит? Он в самом деле ничего не знает об убийстве Кошуха? Левандовский ждал. «Минутка» затягивалась — Лубий не возвращался.

Из гардероба в зал проскользнул один из агентов.

— Взяли его! Он пытался бежать, — доложил он. — Через второй выход. Мы хорошо знаем этот ресторан!

\* \* \*

Теперь Левандовский уже не церемонился. Он посадил Лубия прямо против себя. Майор Кедровский пристроился в сторонке.

— В суде вы дали заведомо ложные показания. Вам было известно, что человек, выдававший себя за Кошуха, вовсе не Кошух. Вечером 15 мая вы убили мнимого Кошуха ударом кинжала в сердце.

— Я? Нет...

Грузный мужчина застонал, зашатался, мешковато осел на стул, съежился. Оба офицера были худее его и ниже ростом, но теперь казались больше и выше.

— Нет! — отчаянно крикнул Лубий. Лавина надвигалась, грозя ему гибелью. — Я не давал ложных показаний. Просто немножечко приврал. С кем это не случилось. Мы на суде говорили полную правду. Соврали только, что знали его до войны...

— Только и всего! Сушие пустяки!

— Да ведь так многие делали! Если кого-нибудь в самом деле хорошо знаешь и полностью ему доверяешь, неужели нельзя

сказать, что познакомился с ним чуть раньше? Ведь это простая формальность. Я никого не обманывал. Для меня он всегда был Анджеем Кошухом. Только Анджеем Кошухом. Сначала и до конца, когда мы виделись в последний раз, Закшевский тоже не знал его ни под какой другой фамилией. Нам такое и в голову не приходило. Послушайте, я вам скажу, как это было. Мы встретились с ним у Грыня летом сорок четвертого.

— У Грыня? В банде УПА? — Левандовский даже вскочил со стула. Открывалась новая страница в биографии неизвестного, называвшего себя Анджеем Кошухом.

Лубию в этом отношении нечего было скрывать. Ему уже не раз приходилось давать показания. Протоколы есть, можно проверить. Однако они находятся не там, где их искала милиция. В познанском суде ни Лубий, ни Закшевский, ни сам Кошух ни словом не обмолвились о том, что несколько месяцев были в банде Грыня. Впрочем, об этом их никто не спрашивал. Речь шла только о том, знали ли они Кошуха еще до войны. Оба подтвердили: да, знали.

В начале 1946 года, в феврале, к уполномоченному госбезопасности в Пшемьсле явились трое мужчин: Антони Закшевский, Александр Лубий, Анджей Кошух. Они заявили, что выходят из подполья. Банда Грыня была разбита, рассеяна. Эти трое решили не идти на сборный пункт, назначенный главварем. Они повернули в Пшемьсль, решив сдать оружие, покончить с прошлым. Оружие у них взяли, всех троих арестовали, потом перевезли в Краков, там продержали под арестом еще несколько месяцев и выпустили. Все трое выбрали местом жительства Познань из тех соображений, что в этом городе, куда не направляли никаких репатриантов, наименее вероятна встреча с кем-нибудь из восточных районов, а уж тем более — из банд. Кошух собирался бежать за границу, на Запад, но остался в Познани. Все они осели в Познани, друг с другом встречались редко, начав жизнь заново, каждый на свой лад. Раньше они опасались, как бы их не выследили бывшие дружки из УПА и не расправились с ними. После окончательного разгрома банд они стали жить спокойнее. Кошух обратился к ним, когда ему понадобилось по суду установить свою личность. В конце концов, если они познакомились летом 1944-го в Восточных Бескидах, то с таким же успехом могли познакомиться за несколько лет до этого во Львове.

— И что же? Вы не знали его настоящей фамилии? — насмешливо спросил Левандовский, вопросительной интонацией подчеркивая, что не верит Лубию.

— Не знал. А какая была его настоящая фамилия?

Они оставили его вопрос без ответа.

Как попал в банду Кошух, Лубий не знал. Он упорно повторял: «Не знаю!» Левандовский на него прикрикнул. Лубий стал божиться. На эту тему они никогда не разговаривали. Прошлось было твоим личным делом и никого не касалось.

— А вы?

— Я политикой не занимался. До войны работал во Львове, на фабрике. В то время я был еще мальчишкой. В войну, после 1941-го, — поспешно уточнил он, — устроился водите-

лем в украинское бюро взаимопомощи. Мы развозили по деревням товары и оружие. Оружие для наших. Когда русские шли на Львов, мой начальник сказал, что надо уходить в горы, а не то нас перережут. Мы взяли машину и поехали подальше в горы. Там собралась уже уйма народу. Поляков, украинцев. И немцев тоже. Закшевский был стопроцентный поляк. А Кошух... — Лубий призадумался. — Он был так себе, ни рыба ни мясо, не поймешь, что за человек. Сам Кошух говорил, что он поляк, католик...

— Почему он пошел в банду? Ведь вы полтора, нет, целых два года были вместе. Неужели ни слова он вам не сказал?

— Ничего. На следствии он показал, что был в Армии Крайовой, и командование приказало им скрыться в лесах. Ну а уж в лесу... Кого там только не было?

— Честных людей наверняка не было, — резко возразил Левандовский.

— Честных не было, — Лубий с ним не спорил. — Но я не знал, что он вовсе не Кошух...

Левандовский выдвинул второе обвинение. И снова услышал: нет!

— У него в гостинице, в «Сьвите», я был 15 мая под вечер, часов в семь. Через два часа вернулся на базу. Можете проверить по нарядам.

— Знаю я ваши наряды, — пренебрежительно фыркнул Левандовский. — Филькина грамота!

— Расспросите людей. В девять я был на базе. В семь у него.

— Как он был одет?

— При мне переодевался. Снял костюм, надел пижаму. Собирался лечь спать.

— А парик тоже снял?

— Какой парик? — В вопросе Лубия звучало неподдельное изумление. — Я представления не имел, что он носит парик.

— Представления не имели? — поручик протянул Лубию фотографию убитого с голым черепом. — Разве он не так выглядел в лесу, у Грыня? Может, скажете, что у него были тогда волосы?

— Всегда были. Тогда и потом.

— Итак, вы не знали его настоящей фамилии, не знали, что он носит парик, ровно ничего о нем не знали, но в суде свидетельствовали как по-писаному... Ох, Лубий!

— Не знал я, — прошептал тот, уже неспособный к самозащите.

— Продолжим... Прокурор еще с вами поговорит, суд разберется. В больницу вы к нему ходили?

— Был несколько раз.

— Откуда вы знали, что он лежит в больнице?

— В январе он написал мне из Познани, что поедет в командировку, остановится в «Сьвите» и хочет со мной повидаться. Я пришел в гостиницу. Там мне рассказали про аварию и дали адрес больницы. Я заходил к нему раза три. Как-никак человек воротился с того света. Потом я бывал у него в гостинице...

— Каждый день?

— Ровным счетом два раза. Когда ехал в Познань и на обратном пути.

— А после?

— После? После уже ничего не было. Зачем бы я стал туда ходить? Он простился со мной, сказал, что едет домой. Очень боялся ехать в Познань на машине.

— Когда же, Лубий, — Левандовский вновь повел атаку, — вы оставили там пачку «Спорта»?

— Какую пачку? Где оставил? — удивился тот.

— В гостинице, в номере у Кошуха, на столе.

— Я оставил?

— А кто же еще? Вы курите «Спорт». Никаких других сигарет не признаете.

— Может, и оставил. Черт его знает. Мало ли пачек сигарет теряешь в пути! Не помню. Зашел я к нему, перекинулся с ним двумя словами и уехал на базу. Вот и все.

— В общем, пай-мальчик... Только вчера вы почему-то предложили ехать в «Оазу», откуда можно уйти черным ходом, и попытались это сделать! Если у вас совесть чиста, чего же вы испугались?

— Вас испугался.

— Меня? У кого совесть чиста, тот меня не боится.

— Я и не подумал, что вы из милиции. Но вы уж очень темнили, и мне это показалось подозрительным. Кошух никогда не говорил ни о каком Левандовском. Это был чертовски осторожный и скрытный тип. Не то что своих знакомых, он и жену нам ни разу не показал. А тут вдруг прислал ко мне чужого человека. И о Закшевском вы знали. Я испугался...

— Он чего-то боялся, вы боялись...

— Ну да, после того как расправились с Закшевским...

— Что? — удивился Левандовский.

— В январе, — рассказывал Лубий, — Кошух предложил мне встретиться, чтобы поговорить о Закшевском. Я и не знал, что того убили. Кошух жаловался, что Закшевский, дескать, вымогал деньги и грозился, если Кошух не откупится, всем разболтать насчет банды УПА, а это, конечно, не больно приятно. И еще он будто бы грозился отказаться от своих показаний в суде. Мне не верилось, что Закшевский способен на такое дело. Но черная кошка между ними пробежала, факт. К счастью, — это Кошух сказал «к счастью» — на Закшевского напали бандиты и прикончили его. Убили и ограбили, деньги взяли...

— Каким образом Кошуху стало известно, что у Закшевского взяли деньги?

— Не знаю, он не говорил. А вообще-то, весь этот разговор он, по-моему, затеял, чтобы меня припугнуть. Мол, если и ты сболтнешь лишнее, тебе тоже несдобровать...

— Сочиняйте, Лубий, бабьи сказки, — усмехнулся Левандовский.

— Ей-богу, правду говорю! Когда вы сказали о Закшевском и что хотите со мной работать, страх на меня напел...

Лубия отправили в камеру. Прокурор санкционировал арест в интересах следствия.



— А если не он убил Кошуха? — неуверенно спросил Левандовский.

— Сильно сомневаюсь, что убийца в наших руках, — сказал майор.

Поручик смолчал.

— В органах безопасности нам отыщут те документы. Ведь что-то им Кошух должен был сказать, черт возьми! Ну а эти четверо остаются под подозрением. Грычер скрыл от нас свою вечернюю прогулку. А Кошух, оказывается, был в УПА! Час от часу не легче! — Кедровский свистнул.

— Месть столько лет спустя?

— Ухаб, как говорит наш старик. Еще один ухаб. Но все возможно.

— Может, Кошух знал, что Закшевского убили бандиты УПА...

— Граф Монте-Кристо Александра Дюма.

— Может быть, Лубий действительно боялся этих мстителей? Их, а не Кошуха?

— Может быть? Может быть? Может быть? По-прежнему куча вопросов — и никакого ответа. Продолжаем поиск.

\* \* \*

Этого района Варшавы Левандовский не знал, хотя довольно часто бывал в столице. Автобус вез его долго, часто сворачивая. Наконец остановился у нового многоподъездного дома. Поручик пробежал глазами по списку жильцов, поднялся на пятый этаж. Широкий коридор с дюжиной дверей. Он отыскал нужный номер, позвонил. Высокий, тучный мужчина в годах, с густой седой шевелюрой, свежим румянцем и веселыми глазами открыл дверь.

— Иван Левандовский? — спросил он. Гость предупредил его о своем приходе по телефону. Отчетливо выговорив свою фамилию — Брацкий, хозяин пригласил офицера в комнату.

— Красиво у вас. — Поручик оглядел большую комнату, со вкусом обставленную стильной мебелью.

— Мебель мне от сестры досталась в наследство...

— Вы были бухгалтером на металлургическом заводе «Варшава», — начал разговор Левандовский.

— Что же еще мог делать бургомистр времен Пилсудского? Как вы полагаете? Ни директором, ни кадровиком такого не поставят. Остается только сбыт, снабжение, бухгалтерия...

Оба рассмеялись, несколько натянуто. Ведь не об этом будет вестись разговор, тема которого пока оставалась загадкой для хозяина.

— Вы много лет, вплоть до тридцать девятого, — официальным тоном начал Левандовский, — были бургомистром Станиславува?

— Совершенно верно.

— Вы знали семью Смоленского?

— Семейю доктора Смоленского? Хирурга?

— Да, именно это меня интересует.

— С семьей я был мало знаком. Супругу и обеих дочерей я знал, собственно, только в лицо. С супругой доктора один

раз танцевал вальс на городском балу... А его самого знал хорошо. Это был известный врач с большой практикой. Он удалял мне аппендикс. Но бургомистру и без того положено знать таких людей, — охотно рассказывал старичок.

— У него были только две дочери?

— Две дочери и сын, намного моложе их. Дочери уже были барышнями, прелестными барышнями, а сын...

— Ежи?

— Ежи?... — Хозяин задумался. — Кажется, Ежи. Точно не помню. В конце 1939 года, когда я не вполне добровольно покидал наш город, этому мальчику было десять, от силы двенадцать лет. Говорят он стал врачом...

— Хирургом.

— Как отец. А ведь ребенок тогда чудом уцелел! Это была страшная история.

— Что вы имеете в виду?

— Гибель доктора Смоленского.

— Гибель доктора Смоленского? — Левандовский вздрогнул.

— Как? Никто из моих земляков вам еще об этом не рассказывал?

Левандовский молча покачал головой.

— Это началось до войны. Доктора Смоленского причисляли у нас к так называемым прогрессивным, левым. Нет, коммунистом он не был! Типичный либеральный интеллигент, каких в то время было много. Он был членом демократического клуба, и на этой почве мы с ним нередко ссорились. Я представлял государственную власть, которую доктор Смоленский упрекал во многих грехах. Примерно за год до войны в больнице, где работал доктор Смоленский, одного молодого канцеляриста обвинили в злоупотреблениях. Сейчас в ходу словечко «недостача», а тогда применялось более сильное определение: «растрата». Там речь шла о мелкой краже. Да и доказательств не хватало. Молодой человек отрицал свою вину, а доктор Смоленский заявил, что дирекция больницы с предубеждением отнеслась к пролетарию — молодой человек был из простой семьи. Смоленский из своих средств возместил больнице понесенные убытки, утверждая, что канцеляриста обманули при выплате жалованья. Среди интеллигенции нашего города дело горячо обсуждалось, а «герой» быстро собрался и уехал то ли во Львов, то ли в Варшаву. Все это происходило на моих глазах. А продолжение я узнал со слов друзей, когда вернулся на родину, то есть уже после войны. Тот молодой человек вновь появился в городе вскоре после прихода немцев. Доктор и его дочери обрадовались ему как другу. Он сказал им по секрету, что прибыл из Варшавы в качестве представителя польского подполья. И с помощью энергичных дочерей доктора стал собирать молодежь. Девушки, воспитанные в патриотическом духе, как нельзя более подходили для такой деятельности. Они организовали нелегальные группы, в это были замешаны и родители. Молодого человека мало кто знал, он соблюдал строжайшую конспирацию, держался в тени. А через несколько месяцев ночью в квартиру доктора Смоленского ворвались гестаповцы. Они арестовали доктора, его супругу, одну из дочерей. Чудом спасся сыпишка, который, говорят,

спал отдельно в маленькой комнатухе. Гестаповцы в темном коридоре не заметили двери в эту каморку, где притаился перепуганный мальчуган. Вторая дочь через окно выскочила в сад и пробралась в соседний дом. Она тоже спаслась, и именно она способствовала разоблачению провокатора. Того самого молодого человека, который предал своего благодетеля. В ту ночь взяли многих. Другие подпольные организации приговорили провокатора к смерти. В него, говорят, стреляли, но он остался в живых...

Левандовский слушал. Слушал — и у него мороз подирал по коже. Ему вспоминалась женщина с неприятными жесткими чертами лица. Она стояла, упершись пальцами в заваленный отрезами стол, и рассказывала историю своего мужа, отца которого, врача, провокатор выдал гестапо точно таким же образом...

Поразительное совпадение прошлого врача с прошлым пациента! Левандовский не мог собраться с мыслями.

— Вы его знали? — прошептал он.

— Кого?

— Провокатора.

— В глаза не видел.

— Его фамилия?

— В свое время мне, наверно, называли и фамилию... Когда рассказывали об этом деле... Рассказывали, беспощадно обвиняя доктора Смоленского.

— Доктора Смоленского?

— Да. Люди считали, что за его легкомыслие и прекраснодушие пришлось расплачиваться другим. И ему самому, конечно. Но и другим тоже. Гестапо устроило кровавую бойню. Люди не могли простить доктору гибели своих близких...

— Фамилия, фамилия провокатора!

— Не помню...

— А кто вам обо всем этом говорил?

— Очень многие. В частности, мой приятель инженер Левицкий, работавший у нас в магистрате. Сейчас он живет в Ченстохове.

Зазвонил телефон. Старичок взял трубку:

— Алло! Да, у меня. Передаю трубку... Вас спрашивают. Очень срочно!

Левандовский рванулся к телефону.

— Поручик Левандовский? Вас ждут. Сейчас же зайдите в управление.

\* \* \*

Сержант Брыла приехал в Варшаву по поручению майора Кедровского. Размахивая выписанным на имя Левандовского командировочным удостоверением и проездными документами, он передал поручику распоряжение майора — немедленно выехать в Замосць.

Сообщение из Замосьца было откликом на разосланные фотографии. Кто-то распознал человека, убитого в гостинице «Сьвит».

Кто же?

Скромная комнатка в доме железнодорожников едваместила троих: Левандовского, сержанта Брылу и офицера местного управления милиции. Не хотелось тревожить старушку вызовом в милицию. Они решили, что лучше переговорить с ней в домашней обстановке. Несколько испуганная, она смотрела на троих мужчин, которые вежливо, но настойчиво вторглись в ее дом.

— Не волнуйтесь, мама, — успокаивала ее дочь, первой узнавшая человека на фотографии.

Снимки убитого, в парике и без парика, разосланные всем органам милиции, сопровождались указанием, что разыскиваемый, по всей вероятности, уроженец бывшей Восточной Галиции. Это облегчало задачу. Однако в городах, где репатриантов из тех мест было много, поиски людей, которым эти фотографии что-нибудь напомнят, могли продолжаться очень долго. Помог, как часто бывает, случай. У одного милиционера в Замосье был приятель — железнодорожник, женившийся на девушке из городка в окрестностях Львова. Он взял снимок, пошел с ним к приятелю, спросил: «Может, твоя жена знала этого человека?..»

Особенно рассчитывать было не на что, но, когда железнодорожник показал снимок жене, та вскрикнула и побежала к матери: «Мама, смотри! Ведь это...»

Старая женщина присмотрелась к разложенным на столе фотографиям, подняла глаза, улыбнулась и сказала:

— Это Коваль, Анджей Коваль. Вот этот, лысый...

Отодвинув в сторону другие фотографии, где убитый был снят в парике, она упорно указывала пальцем на тот единственный снимок, который милиции пришлось реконструировать.

— Анджей Коваль? Вы не ошибаетесь? — Левандовский даже прикрикнул на старушку. Он не мог допустить, чтобы ее неверная память спутала следствие.

Дочь вступилась за мать:

— Я тоже его узнала, хотя на этой карточке он намного старше. Мне тогда было двенадцать лет, столько же, сколько сыну доктора Смоленского.

— Смоленского?! — Поручик не смог сдержать волнения.

— Ведь Коваль был влюблен в докторскую дочку. С этого все и началось. Об этом все знали. Вся наша улица.

Брыла приготовил лист бумаги и щелкнул шариковой ручкой. Левандовский попросил рассказать все подробно.

Муж старушки был в Станиславове дворником. Их дом стоял прямо напротив виллы, где жили Смоленские. Долгие годы до войны и во время войны они соседствовали с известным в городе врачом. Улица была небольшая, узкая, и они знали лично или в лицо всех, кто регулярно посещал доктора.

Дворничиха прекрасно помнила Анджея Ковалья, которому до войны было уже за тридцать. До войны он был одним из подопечных доктора, а в войну, вернувшись в Станиславов, очень часто заходил к Смоленским.

Старушка вспомнила, что Анджей Коваль работал в одной больнице с доктором Смоленским. Она понятия не имела, как он попал в их город, не знала его родных... Впервые она услы-

пала о нем от своего мужа, скончавшегося еще в сорок пятом. Как-то муж показал ей на улице молодого, но совершенно лысого человека и сказал, что в больнице из-за него скандал: этот тип проворовался, а доктор за него заступился. Дворник не одобрял доктора. В больнице все сходились на том, что Коваль — вор, а у доктора Смоленского было золотое сердце. Это был очень, очень хороший человек. Бедных он лечил даром, еще и лекарства им покупал. И все считали, что он по доброте сердечной вступился за этого мошенника, даже негодяя...

Старая женщина разговорила. Дочь вторила ей. Сама она плохо помнила Смоленских, но много раз слышала рассказы об этой семье.

— Он влюбился тогда в старшую дочь доктора. Об этом все знали, хотя на улице я их вместе не видела. Ну, может, раза два, не больше. Никогда он ее не провожал, никогда за ней не заходил, хотя к доктору зачастил, как только у него в больнице начались неприятности. Странный был человек: уж такой вежливый, такой угодливый, до тошноты. Хитрый, как лиса. Потом он уехал, и слуху о нем не было. Как вдруг, в сорок первом, перед самым рождеством — это уж я точно помню, они вдвоем с докторской дочкой прошли по улице. С тех пор и началось! Он чуть ли не каждый день приходил на виллу. Приходил, уходил. Все уж в один голос твердили, что он по барышне сохнет. Кристиной ее звали. Красавица была...

— Уж такая красавица! — подхватила дочь.

— А этот негодяй ее убил. Он их всех убил. Страшная была ночь. Мы услышали, как к дому подъехали гестаповские машины. Тут уж не до сна! Никто у нас не спал. Терезка — и та проснулась, заплакала, дети чувствуют беду. Мы прислушивались. Машины стояли перед нашим домом, но в наши ворота никто не ломился. Отец накинул пальто и вышел во двор. Он чуть приоткрыл окошечко у ворот и видел в щелку пустые машины да немецких солдат, которые словно бы в кого-то целились. Но никого, кроме них, на улице не было. Сквозь черные шторы в докторской вилле пробивался свет. Отец воротился и сказал: «Приехали за доктором». Я перекрестилась. И взяли их всех. Убежала только младшая — Ванда. И сын уцелел — Ежи. Весь город говорил, что Коваль на них донес. Так-то он отблагодарил доктора! Обиделся, что Кристина не захотела выйти за него замуж! Отомстил ей, всей семье отомстил. Подлец, иначе и не скажешь. Слух шел, что наши его потом убили. По приговору. Да правда ли это? Доктора, его жену, Кристину замучили в гестапо. А Коваль больше в городе не показывался — люди бы его разорвали. Настигла ли его кара господня?

— Настигла... — прошептал Левандовский.

\* \* \*

Убийца не оставил никаких следов. В комнате много отпечатков, однако их нет ни на кинжале, ни на парике. И нет на пачке «Спорта». Видимо, убийца вынул ее из кармана, когда уже надел перчатки. И от волнения забыл на столе. Пер-

воначально мы установили, что из шести человек, включая убитого, которые побывали в этот день в гостиничном номере, двое не курили вообще, а «Спорт» курил только один... Однако в результате длительного наблюдения выяснилось, что «Спорт» курил еще один человек...

Поручик Левандовский старался говорить ровным, спокойным голосом. В кабинете, где они сидели втроем, царила абсолютная тишина. Плотные сдвинутые шторы отгораживали комнату от вечернего уличного шума и неровных отблесков редких в такой поздний час огней. Стены были увешаны полками со множеством книг и журналов. Прелестные безделушки — настоящие произведения искусства, украшая библиотеку, делали комнату особенно уютной. Низкая лампа бросала круг света на маленький столик, на котором лежала пачка сигарет «Кармен». Хозяин сидел в кресле и слушал логические выводы поручика Левандовского...

Кедровский прервал поручика:

— Это еще не доказательство, — сказал он. — Отсутствие следов не заменяет следов.

— Следствие всегда начинается с нескольких действий, старых, как мир. Алиби. Мы могли подозревать четверых. Познанский, служащий судоверфи, 15 мая провел весь вечер дома с женой и гостями, которых она пригласила на именины. Живут они на окраине, очень далеко от центра. Итак, алиби, не вызывающее никаких сомнений. С Грычером, журналистом, дело обстояло сложнее. Оказалось, что он хотел скрыть, как действительно провел тот злополучный вечер. Мы задали ему некоторые вопросы, и он в конце концов признался, что утаил одно обстоятельство чисто личного порядка, которое нас не интересует, поскольку не имеет никакого отношения к преступлению. Алиби Грычера засвидетельствовано. Алиби следующего подозреваемого, Лубия, приятеля и кое в чем сообщника убитого, человека с довольно темным прошлым, тоже оставляет желать лучшего. Наряды на автобазе заполнялись неточно и недобросовестно. Мы не знаем, где находился Лубий в то время, когда было совершено убийство: то ли у себя на базе, то ли еще в нашем городе. К тому же Лубий курит «Спорт», и забытая в номере пачка сигарет могла принадлежать ему. Итак, убил Лубий? Возможно! Но вскоре мы убедились, что Лубий — левша. Удар кинжала нанесен с безошибочной точностью прямо в сердце кем-то, кто прекрасно знает анатомию человека, причем нанесен, вне всякого сомнения, правой рукой. Левша ударил бы левой...

— И это еще не прямое доказательство, — вставил майор Кедровский.

— Однако в цепи других оно приобретает большой вес. Еще один человек из четырех подозреваемых не мог доказать свое алиби. Собственно, у него не было никакого алиби...

— Но это еще ни о чем не свидетельствовало.

— Да, это ни о чем не свидетельствовало. Это даже не возбуждало подозрений. Подозрения у нас возникли по совершенно иной причине. Убийца оставил нам важнейшее доказательство, причем, по-видимому, сделал это сознательно. Сорвав с головы убитого парик, он хотел показать его истинное лицо,

не похожее на то, которое знали окружающие. Если у кого-то два лица, возникает вопрос, кто же он на самом деле. Сравнительно быстро мы установили, что убитый не был Анджеем Кошухом. Мы выяснили, что нынешний Анджей Кошух, никогда не снимавший парика, надел эту личину в одном из городов бывшей Восточной Галиции. Итак, он побывал в этом городе!..

Левандовский остановился и закурил сигарету. Хозяин не сделал ни единого жеста, не произнес ни единого слова. Все трое молчали. Потом опять заговорил Левандовский.

— Мы без труда установили, что судьбы Грычера и Познанского никогда не пересекались с судьбами мнимого, вернее паспортного, Анджея Кошуха. Нам казалось, что его прошлое знали два человека, которые несколько лет назад по всей форме показали в познанском суде, что знакомы с ним давно, с довоенных времен. Одним из них, Закшевского, незадолго до автомобильной катастрофы, в которую попал Кошух, убили и ограбили в Познани, в городском саду. В тот период Кошух очень волновался, рассказывал жене, что ему угрожают вору, которых он якобы поймал с поличным на заводе. Сказки рассказывал! Потом, после катастрофы, он сказал Лубию, что Закшевский шантажировал его, грозя разгласить прошлое. Тут, кстати сказать, вскрылась еще одна любопытная деталь. По словам жены Кошуха, никогда не видевшей Закшевского, ее муж знал, что у убитого украли бумажник с деньгами. А ведь подробности этого дела не оглашались! Каким же образом это стало известно Кошуху?

— Такие вещи зачастую знают все соседки, — заметил майор Кедровский.

— Бывает и так. Но я не поручусь, что Закшевского не задушил Кошух. Видимо, этого мы уже никогда не выясним. Оставался еще Лубий, тоже знавший изрядный кусок прошлого мнимого Кошуха. И на него падает подозрение. Его оправдания и объяснения не вполне удовлетворительны. Однако в нашем списке был еще один человек, уроженец именно того галицийского городка...

Левандовский опять умолк. И снова никто не шелухнулся, никто не проронил ни слова.

— Идя по этому следу, чуть приметному, наводившему на мысль, которая вначале вообще не принималась нами в расчет, представлялась невероятной, мы наткнулись на людей, проживавших когда-то в Станиславове. Бывший бургомистр этого города рассказал нам о трагической участи доктора Смоленского и его семьи. Бывшая дворничиха дома, напротив которого жили Смоленские, не только повторила его рассказ, не только подтвердила, что одна из дочерей доктора и его сынишка — Ежи чудом уцелели, но и распознала человека, выдававшего себя за Анджея Кошуха. Когда мы показали ей фотографию мнимого Анджея Кошуха без парика, она уверенно заявила, что это не кто иной, как Анджей Коваль, проворовавшийся служащий больницы, приятель барышень Смоленских, если можно употребить это слово, говоря о провокаторе, о виновнике гибели доктора Смоленского, его семьи и еще нескольких человек. Я кончаю... Скажу только вкратце

о дальнейшей судьбе Коваля, которую нам удалось воспроизвести в самых общих чертах. Опасаясь мести, несмотря на помощь и поддержку гестапо, он надел парик и раздобыл документ человека, также убитого гестаповцами, но по другому делу. Пользуясь этим документом, он вступил в банду УПА, однако быстро сориентировался, что бандиты обречены. Тогда он дезертировал, намереваясь уехать на Запад. Мы не знаем, что ему помешало осуществить это намерение. Он поселился в Познани, женился, стал смирным, приторно-вежливым. Быть может, до Закшевского каким-то образом дошли некоторые подробности прошлого Коваля — Кошуха. Не исключено, что, спасая себя, Коваль решился на убийство Закшевского. Не исключено, что из страха перед разоблачением он не колебался бы совершить и второе убийство. Быть может... Автомобильная авария была действительно случайностью, простой случайностью... Однако не стоит гадать, вернемся к фактам. Коваль в тяжелом состоянии попал в больницу. Без парика. И в больнице его узнал хирург. Не так ли? Не так ли, доктор?

— Да. — Хозяин, сидящий в своем глубоком кресле, сказал это тихо, очень тихо, после длинной, очень длинной паузы. — Да... Но не только я его узнал, когда, закончив первую серию операций, взглянул на него не как на разодранные мыщцы, переломанные кости, израненное тело, а как на человека. Да, я его узнал, но и он узнал меня. Ему даже легче было узнать меня, чем мне его. Он спросил медсестру, как зовут доктора, которому он обязан жизнью. Ловко попытал, сколько мне лет. Откуда я родом. Он ничем не выдал себя, однако я понимал, чего он боится, почему хочет поскорее выписаться из больницы, исчезнуть. Он надеялся, что я его не узнал, фамилия другая, да и тогда я ведь был ребенком... Но ему пришлось держаться настороже, скрывать от меня свой страх. Ему пришлось выдержать разговор о парике, начатый мною, пришлось принять из моих рук свою новую жизнь и свой новый парик...

— Но ведь вы могли, доктор... — сказал Левандовский.

— Нет, не мог, дорогой мой, именно этого доктор не мог сделать, — тихо досказал майор Кедровский. — И только поэтому наша встреча носит такой характер. Несмотря на все, она носит такой характер и вообще состоялась.

— Совершенно верно, именно этого я не мог сделать. Достаточно было какого-нибудь недосмотра, попросту недосмотра — и я бы развязал себе руки, и вам не пришлось бы беспокоиться, а на свете стало бы одним негодяем меньше... Но я подумал, что число негодяев, общее число, в таком случае останется точно такое же. Одного не станет, зато прибавится другой. Нет, дело тут не в клятве, которую дает начинающий врач. Формальные клятвы ничего не стоят. Я лично не придаю значения никаким клятвам, для меня это не более как формальность. Я прислушивался только к голосу своей совести. Речь идет о моей врачебной совести, о моем профессиональном долге, о честном подходе к своему делу. Вы и представить себе не можете, сколько часов я просиживал ночами в этом самом кресле, в котором сижу сейчас, и думал, неотступно думал об одном: как мне поступить?



— Но почему вы не обратились к нам, в прокуратуру, в суд? — Кедровский поднялся, наклонился к хирургу.

— Потому что приговор уже был вынесен.

— Чей приговор?

— Пожалуйста, взгляните сами! — Доктор, не вставая с кресла, повернулся, взял с полки тонкую картонную папку, развязал тесемки, вынул большой лист, на который была наклеена узкая пожелтевшая полоска папиросной бумаги, густо исписанная на машинке, и протянул его Кедровскому. Майор наклонился еще ниже, чтобы в свете лампы разобрать поблекшие буквы. Приговор. Подпольный суд приговаривает Анджея Ковалья к смертной казни за измену польскому государству, сотрудничество с гестапо и выдачу польских граждан — борцов за независимость... 1943 год.

— Приговор был вынесен, в Ковалья стреляли. И попали. Но только ранили, не убили. Он оправился и после этого стал носить парик. Шрам от той пули я нашел во время операции... Копию приговора хранила моя сестра и отдала ее мне, когда я уже стал взрослым. Не для мести. Нам и в голову не приходило искать Ковалья. Она просто передала мне страшную семейную реликвию.

— Но ведь этот приговор сейчас не имеет законной силы! Он сейчас ничего не значит!

— Для меня значит.

— Как гражданин нашего государства, доктор, вы обязаны подчиняться его законам. Законам, согласно которым у нас, как во всем цивилизованном мире, самосуд недопустим. А это был самосуд...

— Да, можно расценивать это так. Однако чувствовать можно иначе. Кроме того, как известно, жернова правосудия при таком сроке давности мелют очень медленно, порой еле ворочаются. Существуют суровые статьи закона, но существуют также и амнистии! Двадцать лет спустя суды более снисходительны. Да, майор, я во всем отдаю себе отчет, во всем отдавал себе отчет с самого начала, и если бы кто-нибудь пришел ко мне посоветоваться, как ему поступить в подобном случае, я бы нисколько не сомневался, что следует делать. Я бы посоветовал ему обратиться в милицию, в прокуратуру, в суд. Посоветовал бы совершенно искренне, постарался бы убедить его, что иного пути нет. Однако то, что советуешь другим, редко совпадает с тем, что советуешь самому себе. Куда легче дать умный совет другому, чем самому себе.

Не вдаваясь в излишние подробности, я описал этот случай нескольким друзьям. Я не спрашивал их, как вести себя врачу, когда в его руки попал враг в тяжелейшем состоянии после автомобильной аварии. Этот вопрос мне нужно было решить без посторонней помощи. Им я рассказал, что кто-то столкнулся с гестаповским провокатором, виновником смерти десятков людей. А может быть, сотен? Ведь я не знаю всех преступлений Ковалья. Может быть, он выдал и настоящего Анджея Кошуха?.. Так вот, я спрашивал друзей, что делать человеку, раскрывшему тайну... Все мои друзья предлагали пойти в милицию, к прокурору, в суд. Они повторяли мне то, что я и без них прекрасно знал. Однако я знал еще одну вещь.

Я знал, что не смогу недобросовестно подойти к лечению этого человека. Каждого пациента я лечу добросовестно...

— Нам известно, что вы замечательный врач...

— Допустим... Но по отношению к нему мне нужно было проявить максимальную добросовестность. Его мне надо было во что бы то ни стало вылечить, поставить на ноги, вернуть к жизни. Я должен был этого добиться, чтобы не упрекать себя. Не упрекать себя в том, что избрал бесчестный способ мести. И потому, пока он лежал у меня в больнице, пока он был моим пациентом, я не мог пойти, например, к вам, майор, и выдать его вам. Ведь это, собственно, одно и то же. А я не совершу поступка, противоречащего врачебной этике. Я не могу предать человека, которого судьба отдала мне именно как врачу. Нет! До тех пор, пока он оставался в больнице под моим наблюдением, я не имел права, не имел никакого морального права мстить. А потом? Он выписался из больницы и сидел у себя в гостинице. Тогда мне уже было все дозволено. Я знал, что в действительности вылечил его именно для этого. Перед судьбой мы теперь равны, надо свести старые счеты. И побыстрее, потому что он собирался уезжать, я рисковал навсегда потерять его из виду. Хотя в то время я еще не был вполне убежден, что он узнал меня, что он именно меня боится...

— А теперь вы уверены в этом?

— Уверен. Он сам признался мне в этом в последнюю минуту своей жизни. Я вам скажу, как это было. С медицинской точки зрения не было никакой необходимости в моих визитах. Однако я пошел к нему через несколько часов после того, как он выписался из больницы. Я ходил к нему, чтобы не упустить его. Каждый вечер я шел гулять и часами бродил взад и вперед возле гостиницы. Я подсчитал, которое окно его, и два вечера подряд сторожил это окно, как собака, пока в нем не гас свет. В среду я был у него во второй половине дня и все еще не знал, что делать. То есть я понимал, что надо отвести его в милицию, но мне было как-то неловко, неудобно. Он сказал, что уезжает, что очень мне благодарен. Сказал, что завтра уезжает...

— Он собирался ехать только через несколько дней. Ждал машину, обещанную Познанским...

— Мне он сказал, что уезжает завтра. Он хотел, чтобы я перестал к нему ездить. Вы полагаете, что он, по всей вероятности, убил Закшевского, грозившего ему разоблачением... Меня он не мог убить. Быть может, потому что я подарил ему жизнь. Быть может, потому что его все же мучили призраки прошлого. А быть может, попросту потому, что для этого нужна сила, а он был еще слаб. Да нет, вполне возможно, что он вовсе не хотел меня убить, что он хотел лишь убежать от меня. И тогда-то я решил больше не медлить. Вечером я надел тонкие кожаные перчатки. Вы их найдете в шкафу. Я взял кинжал, который был у меня очень давно. Когда я приехал в этот город и устраивался на новом месте, этот кинжал однажды попался мне на базаре. Я купил его, подумав, что такая вещь пригодится в хозяйстве. Я не придавал значения свастике, вообще не думал ни о какой символике, а просто взял кин-



Рисунки Н. ГРИШИНА

жал. По пути, не снимая перчаток, я купил сигареты, те самые, которые курю всегда, когда нервничаю, — до операции и после операции...

— «Спорт», — прошептал Левандовский, — сейчас мы уже знаем. — Вы курите «Кармен» и «Спорт».

— Сигаретами «Кармен» я угощаю, сам курю только «Спорт». Я очень волновался. В вестибюле гостиницы было

людно. Никто не обратил на меня внимания. Я рассчитывал, что, даже если портье меня заметит, предыдущие визиты обернутся в мою пользу. Я считал, что мои приходы и уходы в гостиницу спугаются у него в памяти. Дверь в номер была не заперта. Он уже переоделся в пижаму. Он смотрел на меня с изумлением. Я положил на стол пачку «Спорта», которую все время нес в руках, — ее я потом забыл взять, — и сказал ему, что знаю, кто он: Анджей Коваль. Тогда он сказал, что он меня тоже узнал, что я сын доктора Смоленского, брат Кристины. Он сидел в кресле, даже не пытаясь встать. Быть может, он оцепенел от неожиданности? Я вынул из кармана приговор, вынесенный двадцать лет назад, и прочел ему его без каких-либо комментариев. Я спросил еще, что он может сказать в свое оправдание. Он ответил: «Ничего»... Тогда я вынул кинжал и ударил его прямо в сердце... — Последнюю фразу он произнес очень тихо.

Страшные слова тонули в уютной мирной комнате, растворялись, пропадали. Неужели действительно человек, сидящий в глубоком кресле, все это сделал?

— ...Отец наклонился надо мной и поцеловал в лоб. Как каждый вечер. Мне было тринадцать лет. Я боготворил отца, он был для меня всем. Наша дружба возникла с началом войны. Раньше каждый из нас жил своей жизнью. Во время оккупации жизнь семьи сосредоточилась в стенах дома. Отец стал для меня ее центром. Он читал мне прекрасные книги, несколько, быть может, преждевременно приобщил меня к большой литературе, говорил со мной о величии и жестокости мира. Отец внушал мне любовь к жизни. Разумеется, не к гитлеровскому порядку, который он учил меня ненавидеть так же, как ненавидел сам. Я участвовал в подпольной работе моих сестер. И отец в ней участвовал. Неправда, что подпольную организацию у нас создал Коваль. Когда Коваль приехал, организация уже действовала. Ковалья приняли в организацию, потому что отец и сестры ему доверяли. Неправда, что Коваль был влюблен в одну из моих сестер. Это не более как досужий вымысел городских сплетниц. Не знаю, чем объяснялось доверие моего отца к этому человеку. Для меня оно непостижимо, однако я верю, что отец руководствовался какими-то серьезными соображениями. Мы проводили с отцом вместе долгие часы. У отца тогда было больше свободного времени. Он разговаривал со мной не как с подростком, а как со взрослым человеком, никогда не называл меня уменьшительным именем, всегда полным: Ежи. Часами он рассказывал мне обо всем на свете. Мы говорили до поздней ночи, погасив огонь. На прощание он наклонялся и целовал меня в лоб, а я жал ему руку. Это была прекрасная дружба сына с отцом. Он уходил потом к маме, в спальню. Сестры спали в своей комнате. А я — в маленькой клетушке в конце коридора. Там стоял шкаф. В тот угол не доходил свет тусклой лампочки военного времени, едва тлевшей у входа. И вот однажды меня разбудил шум. Я оцепенел от страха. Отца я больше не увидел, услышал только его голос. Ускользнув на минуточку от гестаповцев, он просунул голову в мою дверь и тихо сказал: «Лежи, не шевелись...» Этой двери, загороженной шкафом, ге-

стаповцы не заметили. Дождавшись, когда все ушли, я соскочил с постели. Пустой дом был запечатан. Младшая сестра Ванда через окно первого этажа убежала в сад, а оттуда пробралась к соседям. Я остался один. Бросившись в отцовскую кровать, я залился слезами. Я был потрясен. Весь день я просидел в опустевшем доме, не в силах двинуться с места. Лишь к вечеру я оделся, взял немного вещей, вылез через окошко и побежал к соседям. Там мне дали адрес сестры, которая скрывалась от фашистов. Сестра и соседи думали, что меня взяли вместе с родителями. Гестаповцы, вероятно, думали, что я убежал с сестрой, меня не искали. Больше я отца не увидел. Никогда не знаешь, когда видишь самого близкого человека в последний раз. Может, это и к лучшему... Простите! Мне не следует так много говорить. Я должен только сказать «да»! Подтвердить добросовестность, объективность следствия и протянуть вам руки...

— Это обязательно, доктор.

— Каждый призван выполнять свой долг. Вы в первую очередь.

— К сожалению, вы правы, — вздохнул майор Кедровский. — Но вам не надо протягивать рук. Вы нас ждали?

— Откровенно говоря, ждал... Собственно, выйдя из комнаты Ковалю — уже мертвого, — я хотел идти прямо в милицию. И передумал, решил подождать до завтра. Мне захотелось вернуться в свою пустую квартиру — такую же пустую, как отцовский дом в ту страшную ночь, захотелось опуститься в кресло, в котором я сейчас сижу, наедине с собой оценить свой поступок. Поступил ли я правильно, поступил ли я так, как должен был поступить на моем месте другой? Я не был в этом уверен. В глубине души я до сих пор не уверен в этом. Но иначе я поступить не мог. И в эту одинокую, бессонную ночь я стал взвешивать все «за» и «против». «С какой стати, — спрашивал я себя, — мне и моим пациентам страдать за то, что этот преступник убил моего отца, мать и десятков других жертв? С какой стати мне обвинять себя? В чем? В том, что я избавил людей от чудовища?»

— У которого есть дочь, очень любившая его, — прошептал Кедровский.

— Невозможно вечно сочувствовать всем и каждому! Я подумал, что волею судеб привел в исполнение приговор, справедливость которого не подлежит сомнению. Свершилось предначертание судьбы. В чем же мне каяться, чего ради ускорять развязку? Нет! К утру я принял твердое решение: ничего не предпринимать. Не скрываться и не сознаться. Предоставить исход дела самой судьбе, подвергнуть то, что произошло между мною и этим негодяем, как сказал бы верующий, суду божьему, поручить себя провидению. Если в один прекрасный день вы придете за мной, я протяну руки — надевайте мне наручники! Если же не придете... Что ж, я не стану торопить вас. Не буду возражать, но ни слова не скажу первый...

— Доктор, — тихо прервал Смоленского майор, — мы обязаны найти виновного. Кем бы он ни был и чем бы ни руководствовался.

— Я на вас не в обиде. Вам незачем передо мной оправ-

дываться. Человек обязан выполнять свой долг. Я свой выполнил, хотя, может быть, не так, как следовало, поэтому сохранил уважение к себе. И вы тоже, что бы ни слышали от меня сегодня, в этой комнате, выполняете свой долг. А если кто-нибудь из вас сожалеет о случившемся, то это вполне естественно. Человек — мыслящее существо, ему свойственны сожаления, ему свойственны сомнения. Хорошо, что он умеет их преодолевать...

— Вы своих не преодолели, доктор! Вы взялись сами вершить правосудие, а это никому не дозволено. Вас придется арестовать.

— Для того вы ко мне и пришли.

— И вы готовы?

— Нет, майор, я еще не готов. Я буду готов через несколько часов, утром...

— Вы сами к нам придете.

— Благодарю за доверие, майор...

Утром Левандовский вбежал в кабинет майора.

— Сегодня ночью Смоленский покончил с собой. Порошки и газ. Выломали дверь, но было уже поздно...

**Перевел с польского Н. ПЛИСКО**

**На I—IV стр. обложки — рисунок Н. ГРИШИНА**

**На II стр. обложки — рисунок Б. ДОЛЯ к повести А. Буртынского «Тихий угол»**

**На III стр. обложки — рисунок Г. ФИЛИППОВСКОГО к рассказу Д. Биленкина «Вечный свет»**

---

**Редакционная коллегия: А. Г. АДАМОВ, А. П. КАЗАНЦЕВ, А. В. НИКОНОВ, А. А. НОДИЯ, В. М. ЧИЧКОВ**

---

**Редакторы выпуска: В. РЫБИН, Ю. ПЕРЕСУНЬКО**

---

**Художественный редактор Т. ПРОКУДИНА**

---

**Технический редактор А. БУГРОВА**

---

**Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»**  
**Адрес редакции: 103030, Москва, К-30, Суцевская, 21.**  
**Тел. 251-15-00, доб. 4-10.**

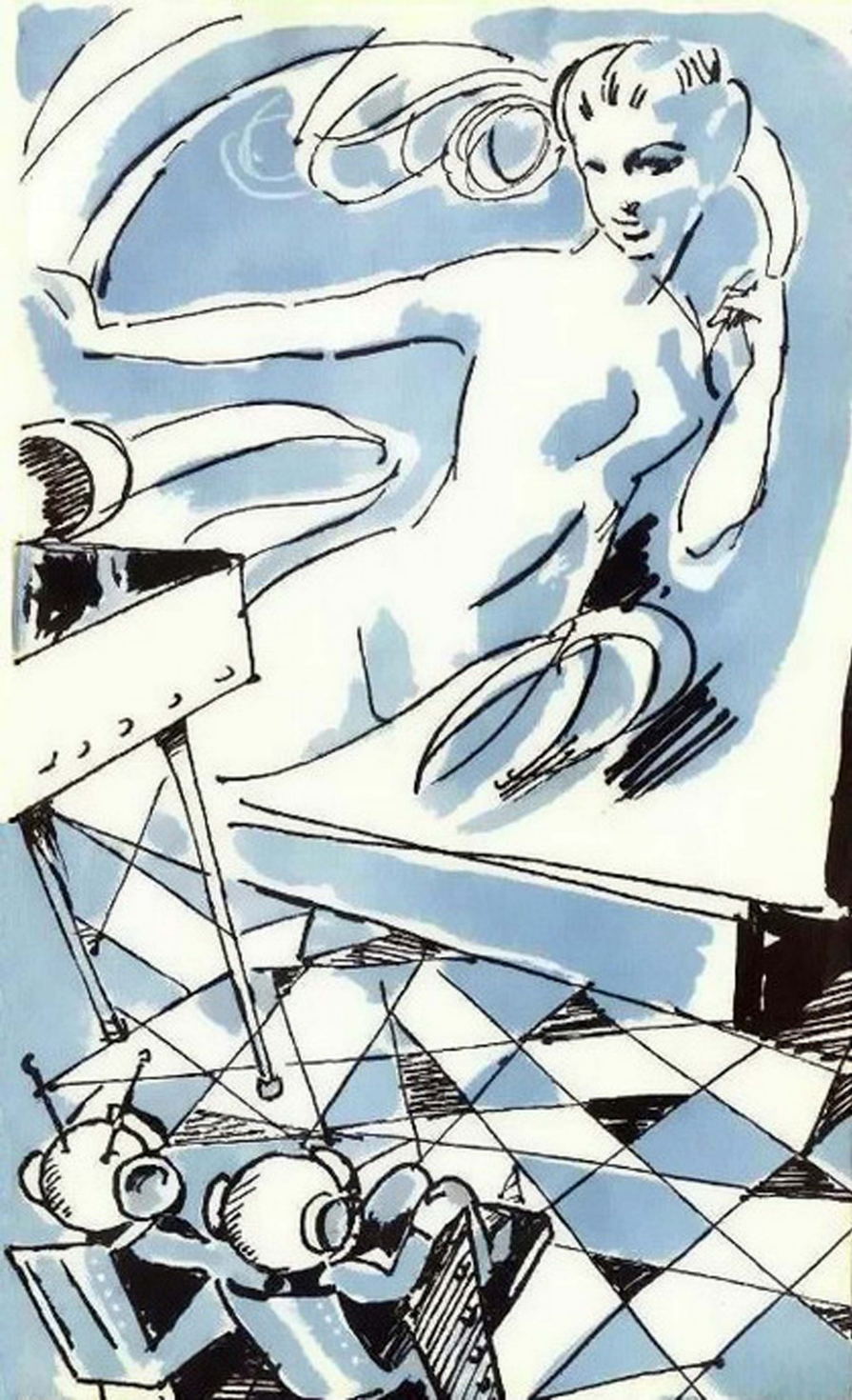
---

Сдано в набор 15/V 1978 г. Подп. к печ. 20/VII 1978 г. А06183.

Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печ. л. 5 (усл. 8.4). Уч.-изд. л. 12.1.

Тираж 250 000 экз. Цена 40 коп. Заказ 916.

Типография ордена Трудового Красного Знамени изд-ва  
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 103030, Москва, К-30.  
Суцевская, 21.





**Александр БУРТЫНСКИЙ — „Тихий угол“**

**Дмитрий БИЛЕНКИН — Вечный свет**

**Казимеж КОЗЬНЕВСКИЙ — Человек в парике**

Цена 40 коп.

